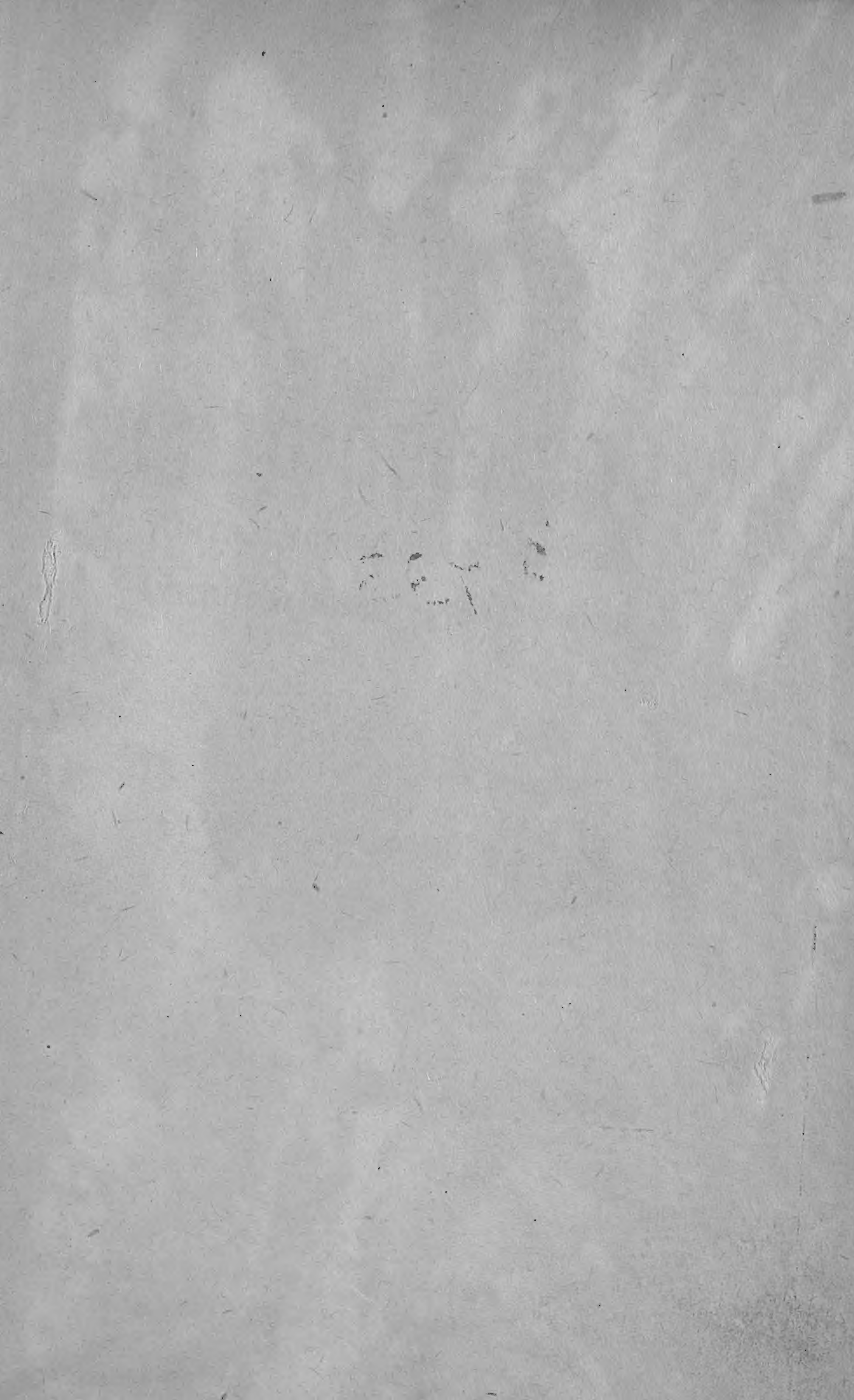
433

2 яц



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ал. АРОСЕВ.





КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО

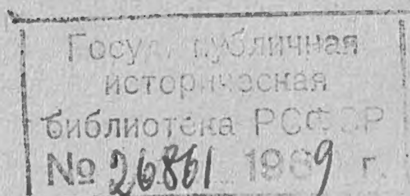
(Октябрьские дни в Москве).

ВОСПОМИНАНИЯ—МАТЕРИАЛЫ.

*Виктору Александровичу
Тихомирнову
посвящаю.*

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ"
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ. МОСКВА—1923.





Главлит № 13810 Тираж 7000 экз.

Тип. Изд. „Красная Новь“ при ГПП., Москва, Милютинский, 22.

I.

В Марьиной роще.

Утро туманное и сырое. Не светло и не темно, будто за окном серая австрийская шинель.

Мы с Виктором Александровичем Тихомирновым *) жили в деревянном домике, в Тузовом тупике. Одним своим концом он выходил на улицу, а другим упирался в громадный пустырь, уложенный кучами навоза, обильно пропитанный грязью и влияющий на атмосферу. Пустырь замыкался узким проходом между двумя домами, и проход этот выводил всякого на Александровскую улицу.

В маленьком деревянном домике моя комната имела одно окно, но только не на улицу, и не во двор, а в сени, где всегда вешали сушить выстиранное белье. Комната моего друга В. А. Тихомирнова была несколько благороднее. Его окно выходило уже на самую улицу, а так как по другую сторону улицы все равно не было ни одного дома, а тянулся длиннейший, неизвестно кем и когда выстроенный забор, то Виктор мог без конца любоваться этим серым забором и без конца делать догадки о том, когда выстроен этот забор, кем и что скрыто за ним. Забор мог явиться источником бесконечных фантазий.

Однако, несмотря на все благорасположения комнаты моего друга, большую часть времени мы проводили все-таки в моей, так как она имела одно преимущество: была расположена рядом с таким местом, которого лучше не называть и вследствие этого наших разговоров никто подслушивать не мог, тогда как Виктора комната находилась рядом с комнатами хозяев и оттуда было слышно—даже дыхание владельцев квартиры. Было и еще одно преимущество моей комнаты: она вследствие своей незначительности нагревалась от самовара.

Мы не могли жаловаться на своих хозяев. Наоборот, они, т.-е. муж, жена, мать жены и кошка были людьми очень милыми, приветливыми, жалостливыми. Так, они довольно часто угощали нас овсяным какао. Иногда

---

*) Старый большевик, член партии с 1905 г. (Тысяча девятьсот пятого). Вскоре после образования Советской власти был назначен членом коллегии Н. К. В. Д. Умер в 1919 г. в Казани.

остатками своих булок, иногда чаем. Это для нас было тем более приятно, что у нас не было ни булок, ни чая, ни какао, ни даже продовольственных карточек. Мы не заботились о хлебе насущном. И это обеспечивало нам не только полную беспредельную взаимную дружбу, но и возможность постоянно воспарять мыслью о судьбах России, нашей партии, и т. д., и т. д.

В это утро, сидя у меня в комнате, просматривая газеты, и с голодным аппетитом что-то дожевывая, Виктор с шумом отодвинул стул,—он всегда задавал вопросы внезапно и как-бы стихийно.—„Ну, вот скажи-ка, долго ли продержится власть Советов, если мы ее добьемся?“

Я, признаться, был немного смущен вопросом, а мой приятель продолжал:

— Аяй, Ильич смекалистый мужик, вот он уже написал брошюру. „Удержат ли большевики власть“. Ее нет... власти-то, а он уже смекает, удержим или не удержим власть. Мастак Ильич, прямо мастак!

И у нас затрещал разговор о нашей партии, Ленине и Советской власти. Разговор стал разгораться, а самовар потухать.

Серая булка была с‘едена, кусок полусоленого черного и черствого, как камень, хлеба был нами обглодан с той и другой стороны, тепленькая вода без всякой приправы и без сахара выпита, и мы стали собираться в типографию „Деревенской Правды“.

Одевая—он свое замызганное пальто и рваные галоши, а я рваную шинель и фуражку, превратившуюся в гречушный блин—мы оба разом вспомнили, что тов. Ем. Ярославский просил кого-то из нас быть сегодня ночью на выпуске газеты.

— Ай-да, скорей, чорт возьми, а то Емельян будет ругаться.

Ты ведь сегодня должен был быть на ночном выпуске—говорил Виктор.

— Ничего подобного, Витя, это ты как раз должен был сегодня выпускать.

— Поди ты! Я вчера был.

— Ничего подобного, ты вчера не был!

— Нет был! А я не виноват, что Емельян приходит сам. Он вчера пришел и сказал, что сам будет выпускать, я решил, конечно, какого же чорта я буду сидеть зря.

Пошли между нами пререканья. Впрочем, они происходили почти каждое утро.

— Сколько на твоих времени,—спросил меня Виктор, когда мы уже пересекали навозный пустырь.

— Да не знаю, брат, ведь мои часы всегда останавливаются, когда доходят до $5^1/_2$.

Мы вышли на Александровскую улицу. Она имела до-

вольно пустынный вид. Только на углу рабочего кооператива, будто прибитая бурей, жалась к стене длиннейшая очередь из женщин и подростков.

— Сколько времени, товарищ,—спросил я у одной пролетарки в очереди.

— А не знаю, не знаю, мы еще вчера с вечера вышли в черед, всю ночь провели. Так, на взгляд, часов 7 есть.

Ну, значит, придем раньше Емельяна.

Шагая в ногу, и усиливая шаг от холода и от боязни, как бы Емельян не пришел раньше нас, мы вполголоса затянули веселую песню, благо на улицах почти никого не было.

Шагали в ногу, слышалось только, как хлюпала рваная галоша Виктора.

Торопились. И все-таки, когда мы пришли в типографию, Емельян уже сидел там.

Было $7^1/_2$ часов утра.

— Ну, я пойду сосну немного— сказал Емельян.

Это словами, а улыбкой говорил другое: —„А ведь кто-то из вас, друзья, сегодня должен был дежурить здесь ночь на выпуске“.

И Емельян ушел.

Около меня стоял метранпаж, старик, дряхлее которого и придумать нельзя. Мне казалось, что из-за пыльных очков он и видеть ничего не мог, а составлял страницы из колонок просто „от руки“, по привычке.

Вместо слов, он издавал какие-то звуки, которые иногда даже не долетали до меня, а исчезали в его старой желто-седой бороде. Впрочем, я понимал его и отвечал, хотя не знаю, слышал ли он мои ответы.

Тусклые электрические лампочки освещали все наши грязные типографские углы.

Виктор сидел окутанный дымом своей папиросы, а я работал около метранпажа.

Недалеко от меня „клекотала“ наборная машина под руками чумазой девицы.

Все было тихо и сосредоточенно.

Я почувствовал легкую боль в голове. Знал, что это от недостатка сна. В самом деле, вчера лег в 3 ч. ночи— встал в 7 час. утра и третьяго дня тоже и четвертого. Все время на ногах: митинги, собрания, споры, да еще статьи надо писать, да в редакции сидеть, да кое-что прочитать. И мысль все время в голове вертелась неустанно: что будет, что будет, что будет?..

Мы победим или нас победят?

Вот, недавно, вчера Керенский говорил про Ленина: „оный государственный преступник“, завтра Емельян, а после завтра Виктор и я станем „оными государственными преступниками“...

Что-же Ленин? Он вероятно проворонил, упустил момент! Ведь и Ленин человек, а значит мог ошибаться, мог не учесть, что масса надломлена неудавшимся выступлением 3—5 июля.

Так, пока я глядел на складывающуюся страницу „Деревенской Правды", мысли вихрями неслись от черного к белому, от белого к черному...

На улице уже было светлое утро. В маленькой типографии наши усталые глаза бегали по свинцовым и печатным черным строкам...

Хлопнула дверь, вошел тов. Максим Пешков (сын А. М. Пешкова) и с ним двое других товарищей.

— Здравствуйте, что у вас уже готов номер?

— Нет, а что? Какие новости?

— А вот если у вас еще не готов номер, то пускайте скорее телефонограмму из Петрограда. Сейчас ее передал Виктор Павлович Ногин. Вот...

Он не успел договорить, как Виктор и другие товарищи, уставившись в телефонограмму и читая ее вслух, вдруг воскликнули:

— Урра! Наконец-то! Вот так здорово!

Все говорили друг другу:

— Читай!

В телефонном сообщении тов. Ногина говорилось о том, что в Петрограде Всероссийский С'езд советов об'явил себя властью, что правительство организовалось как Совет Народных Комиссаров и что председателем Совета избран тов. Ленин.

Дрожащими руками кто-то хотел сам выбросить несколько строк из „Деревенской Правды", чтобы вставить туда сообщение Ногина, но старик ментранпаж спокойно что-то прошамкал губами, поддернул штаны и стал спокойно раздвигать столбики, приготовляя место для нового сообщения, которое через 2 часа потрясет все казармы—всех рабочих—всю Россию.

Этому маленькому сообщению в несколько строк суждено будет всю серошинельную трудовую Москву свернуть в один кулак, а всю белошелковую, буржуазную Москву в другой. И произойдет поединок...

Все гурьбой мы направились к редакции „Деревенской Правды". Там уже говорилось об известной телеграмме Ленина Московской организации.

В воздухе стало душно от приближающейся грозы. А на другой день гроза разразилась.

С этого момента ни я, ни Виктор впродолжение боев, т. е.8—9 дней не бывали в Марьиной Роще, в Тузовом тупике, в наших достопримечательных комнатах.

Туда мы явились на 10-й день на автомобиле.

II.

В Московском Совете.

Военно-Революционный Комитет заседал наверху, на третьем этаже Московского Совдепа, в маленькой комнатке, в которой раньше помещался, кажется, т. Муралов. Тут мне была дана первая задача: какой угодно воинской частью занять телеграф, телефон и почту. Вместе со мной на это дело отправился и т. Ведерников, который получил полномочия, похожие на полномочия комиссара почты и телеграфа.

Вышли мы с т. Ведерниковым из дверей Совета на Скобелевскую площадь. И как-то странно: тут на площади все по-будничному суетится, все спешит, все хлопочет так же, как это было вчера, третьего дня, четвертого дня. Возле памятника Скобелева плетутся два мальчишки-газетчика. Барышня торгуется с извозчиком на углу. Все, как было.

— У вас есть револьвер?—спрашивает Ведерников.

— Нет.

— И у меня нет. Надо достать. Зайдем в „Дрезден“, может быть у кого-нибудь из товарищей добуду.

Кругом так мирно, никто на нас не нападает. Переворот в Питере уже совершон. Половина министров в тюрьме. Зачем же револьвер?

И то, что т. Ведерников пошел вооружаться, казалось ненужной комедией, в которой персонажи придают сами себе гораздо больше значения, чем они имеют на самом деле.

Мы толкались в номерах „Дрезден“ среди товарищей около получаса, однако т. Ведерников так и не нашел револьвера.

— Ни у кого нет, чорт возьми!—сказал он.

— Постойте,—вспомнил я,—дойдем до типографии „Деревенской Правды“, там у моего товарища Тихомирнова есть какой-то самострел. О себе я не беспокоился: у меня, как у прапорщика, оружие имелось.

Мы зашли, и т. Ведерников был, наконец, вооружен маленьким, довольно безвредным, испанским браунингом.

Оттуда направились в Покровские казармы, где стоял 56 полк, на который, по моим расчетам, положиться было можно.

В полку происходило заседание полкового комитета под председательством строгого, пожилого офицера с канцелярским выражением лица.

Я взял слово вне очереди.

Ознакомил собрание с последними известиями из Питера. Указал на необходимость соблюдать порядок. Для этого, в первую голову, надо усиленно охранять все государственные учреждения и, в первую очередь, надо сейчас же занять почту и телеграф.

Тов. Ведерников отметил, что мы говорим от имени Военно-Революционного Комитета.

— Какого?—спросил офицер с канцелярским лицом.

— Военно-Революционного Комитета большевиков; впрочем, весь состав его сегодня будет санкционирован Советом.

— Ага, это большевистский комитет,—заметил как бы про себя офицер и слегка почесал переносицу.

Наступило молчание. Солдаты недоумевали, не зная что предпринять, за кем итти.

Какой-то затертый полковой работой штабс-капитан, с лицом, как моченое яблоко, и небритый, как Плюшкин, что-то пробормотал, что надо слушаться начальства и ждать его приказаний.

— Товарищи, тут разговаривать нечего,—выступил член полкового комитета т. Голвазин,—партия большевиков призывает нас на защиту революции. Выступим все, товарищи, как один человек.

Несмотря на сопротивление офицерского состава, несмотря на робость многих трясущихся шкурников, товарищи-солдаты сами вывели роту, и часа через два уже заняли почту и телеграф.

Мы с т. Ведерниковым отправились тем временем на почту и телеграф, чтобы предупредить администрацию.

Там было собрание чиновников. Председатель собрания, почтенный старичок, видимо мало что понимал и только кивал головой и соглашался со всеми говорившими.

К вечеру в Политехническом Музее созвано было общее собрание Московского Совета.

Там был и Рябцев. Увидав меня, Рябцев спросил в упор:

— Вы зачем ввели солдат на почту и телеграф? *).

— Да,—сказал я,—а зачем вы, в свою очередь, послали юнкеров для занятия почты и телеграфа? Там может произойти кровавое столкновение.

— Так уберите ваших солдат!

— Уберите юнкеров.

В наш разговор кто-то вмешался, кажется, товарищ

---

*) С таким вопросом он имел право обратиться ко мне, как офицеру, получившему поручение от В.-Рев. Комитета.

Смидович. Мы пришли к тому, что надо ехать на почту и телеграф, чтобы предотвратить столкновение.

Поехали Ровный и я. В автомобиле молчали почти всю дорогу. По приезде узнали, что юнкера, увидав солдат, ушли назад.

На обратном пути Ровный, тогда помощник командующего войсками и, кажется, меньшевик, заговорил со мной о надвигающихся событиях.

— Ну, неужели суждено, чтобы социалисты дрались протиз социалистов же? Неужели мы, две половины когда-то одной социалистической семьи, неужели мы будем убивать друг друга? Нет, в это я не верю, не верю! И мы не дойдем до этого.

После переворота я нашел в его столе переговоры по прямому проводу с фронтом, откуда он вызывал на нас самые отсталые в политическом отношении части.

Никогда не забуду того злого лица, тех острых, пронзительных глаз, которыми впился в меня Рябцев, спросивший сразу, как только я вошел в комнату возвратившись с почты:

— Вы не убрали своих солдат?

— Нет,—ответил я.

Рябцев закусил нижнюю губу и сдержанно, но твердо ударил сжатым кулаком по столу.

События развивались так, будто их кто подхлестывал. Вечером другого дня Кремль был окружен юнкерами Александровского училища.

Тщетно мы ночью в казармах Кремля среди бушующей солдатской толпы уговаривали Рябцева увести юнкеров от ворот Кремля.

— Стоит мне пять минут поговорить по прямому проводу, и в мое распоряжение будут присланы надежные части с фронта,—говорил Рябцев.

Сутки спустя, в здании Совета, внизу в большой комнате заседал Военно-Революционный Комитет. В виду важности момента сюда же собрались и меньшевики и некоторые эсеры, с растерянным видом.

Наверху, на третьем этаже, заседал президиум Совета Солдатских Депутатов и стряпал прокламацию к московскому гарнизону, в которой уговаривал солдат никуда не выходить, большевиков не слушать и поддерживать Керенского. Эта прокламация так и осталась писанным позорищем эсеров и меньшевиков.

Время от времени, то т. Ногин, то т. Муралов подходили к телефону и беседовали с Рябцевым. Не налаживалось соглашение.

В эту ночь т. Тихомирнов и я отправились на автомобиле стягивать части московского гарнизона к Совету.

Приехали в казармы 197 полка.

Здесь до нас уже был т. Ярославский. Солдаты снаряжались, подтягивались, заряжали винтовки.

Оттуда мы отправились в прожекторный полк. На грязной широкой каменной лестнице нам повстречался солдат в белье, заспанный, взлохмаченный.

— Товарищ,—и мы начали об'яснять ему в чем дело.

— Та-ак,—протянул он сонно.—Ну, что же, как полковой комитет вызовет, так пойдем.

— Надо сейчас всех поднять.

— Да где-ж поднять,—ведь, спят.

Подошел другой солдат, тоже в белье и с шинелью в накидку.

— Чего спят, ай-да, нашу роту разбудим.

Начали чесаться и перекоряться. Наконец, решили разбудить полковой комитет.

Сделав тут свое дело, мы направились в самокатный батальон.

Там то же самое: заспанные лица, русская лень и русское скрипучее многословие. Однако, батальонный комитет, собравшись, быстро вынес решение и поднял к утру на ноги весь батальон.

Так мы подняли ночью с нар все части московского гарнизона. На другой день весь дом Совдепа буквально превратился в какой-то солдатский муравейник.

Вечером этого дня происходил последний раз разговор по телефону между т. Ногиным и Рябцевым, который пообещал через десять минут двинуть свои отряды на нас.

А через два часа после этого пролилась первая солдатская кровь на Красной площади. Это была кровь наших товарищей двинцев, *) которых окружили юнкера.

За несколько минут до этого мы, сидя в Военно-Революционном Комитете, испытывали большие колебания. Никогда мое сердце так не трепетало, как в тот раз, когда приходилось решительно голосовать: отвергнуть ультиматум Рябцева или нет.

В комнате, где мы сидели, было светло, светло, а вся Москва, казалось, тихо притаилась и стиснула зубы против нас, против солдатского муравейника в стенах Совета. Каждое шарканье стула об пол царапало нервы. К большим темным окнам, смотревшим в эту загадочную Москву, страшно было подходить. Чудилось, вдруг кто-то страшный подойдет, возьмет за плечи и спросит: что ты хочешь делать?

Товарищ председатель сосчитал голоса: за то, чтобы

---

*) Это группа т. т. солдат с фронта из Двинска, привезенных в Москву и посаженных в Бутырки за „большевизм". Перед нашим восстанием под давлением московских большевиков „двинцы" были освобождены.

отвергнуть ультиматум Рябцева, большинство. Трезвые, твердые цифры голосов за и против убили колебания.

Почти в то же самое время затрещали отдаленные выстрелы на Красной площади. То, что мы решали здесь поднятием рук, там наши товарищи разрешили свинцом и своею жизнью.

Так началось то великое московское сражение, которое тянулось семь дней и дало полную победу восставшим московским рабочим и крестьянам.

Солдаты в эти дни действовали не столько по нашим распоряжениям, сколько по массовой своей мудрости.

— Куда вы идете?—спросил я однажды солдат, увидав, как они строятся на Скобелевской площади в ряды.

— А вон там, в Брюсовском переулке нашим немного худо, так мы им на подмогу.

— Кто же вам приказал?

— Не знаю.

И буквально никто из них не знал, кто же именно приказал выступать,—так сами и выступали.

Не могу теперь в точности вспомнить, как прошел первый день, второй, третий. События этой боевой недели, даже лица почти совершенно изгладились из памяти от непомерного напряжения, от нечеловеческих усилий, от сплошного отсутствия сна.

Впрочем, не могу забыть т. Реутова, погибшего у Никитских Ворот, тов. Павлова, раненого выстрелом из подворотни, а впоследствии застрелившегося. Левого эсера Саблина, с двадцатью пятью солдатами отвоевавшего дом градоначальства и взявшего в плен около трехсот белогвардейцев.

Я подверг допросу пленных, желая отмежевать истинных белогвардейцев от случайно попавших к нам. Ко мне привели высокого, худого, очень молодого юнкера Александровского училища.

Юнкер ни о чем меня не просил, не дрожал в бессмысленном животном страхе, как другие. Ясно и твердо давал свои показания. Я кончил допрос.

— Скажите, пожалуйста,—обратился ко мне юнкер,— вот у вас на стене висит список состава вашего штаба. Там фамилия Перлин. Это не юнкер ли Александровского училища?

— Да. А вы его знаете?

— Зна...ю, ...зна...ю...—вдруг заговорил с надрывом высокий юноша. Не выдержал и сразу зарыдал.

— Да ведь я.. —начал снова юнкер, ища обеими дрожащими руками в карманах шинели носовой платок—да я, ведь, член той же группы большевиков-юнкеров, что и тов. Перлин. Только он успел бежать из училища к вам, а я нет. Вы, товарищ, и представить себе не сможете, какие

муки пережил я оттого, что был насильственно против моей совести, против моих убеждений выставлен вместе с другими на убийство рабочих. Вы только поймите, что я большевик!

Когда я вызвал т. Перлина, то радость для них обоих была неописуема. С той же минуты этот пленный юнкер остался работать с нами.

В это время чуть не с оружием в руках ворвался в штаб прапорщик Гнедов и накинулся на нас: дом у Никитских ворот, где сидел его отряд, загорелся со всех сторон, подожженный юнкерами.

Гнедов бился в истерике и кричал:

— Там горят... там горят!.. Что вы сделали!..

Врач и сестра милосердия увели его куда-то, а наша храбрая пожарная дружина выручила из полымя весь отряд.

От нечеловеческой усталости, оттого, что притупились нервы в последние два, три дня, мне вдруг сделалось решительно все равно: разобьют нас юнкера или мы их разобьем. И это чувство безразличия охватило меня именно тогда, когда наша борьба была на переломе и когда мы, сидящие в Совете и стиснутые кольцом юнкеров, чувствовали под собой колебание почвы, чувствовали, как слабеют руки, чувствовали, что мы как-будто вместе со всеми отрядами наших товарищей-солдат скользим по роковому краю, на страшном острие, по одну сторону которого победа, по другую—смерть.

Многим в это время, менее уставшим, просто страшно было и сердце сжималось, а другим, уставшим и измотавшимся, было как-будто все равно.

Безразличие было полное. Я с т. Янушевским пошел осматривать двор, не будет ли возможным в каком-нибудь месте провести подкоп для вывода хотя бы женщин и уноса документов.

Осмотрев стены двора, мы просто молча плюнули на эту затею и не стали прорывать подкопа. В период такого безразличия было не страшно, абсолютно не страшно и ничего ценного не было для нас.

Однажды днем из Столешникова переулка подкатил юнкерский броневик к Совету и ударил снарядом в угол здания. В одной из комнат стоял солдат и держал бомбу, просто рассматривая ее из любопытства. От неожиданности и грома, с которым ударил снаряд, руки солдата дрогнули, он выронил бомбу, которая разорвалась, легко ранив солдата и выхлестнув все окна в комнате Совета. Все сбежались в эту комнату. Переполох.

— Как же так подпустили броневик к самому Совету?—кричало много голосов.

Я вышел на улицу к товарищам-артиллеристам и узнал, что дело об'яснялось очень просто. Наши артиллери-

сты, измученные и переживавшие чувство тупого безразличия, просто в буквальном смысле слова вздремнули у пушек; в это время броневик-то и подскочил. Конечно, в следующий момент наша артиллерия открыла огонь и броневик скрылся.

Подрыву энергии наших борцов способствовало то злосчастное перемирие, которое было заключено нами с Рябцевым. Оно увеличило кровопролитие, ибо для той и другой стороны оно было намеком на слабость.

В стане юнкеров озлобление против Рябцева за перемирие дошло до того, что в здании думы один из офицеров застрелился, а во всех пунктах их позиций юнкера не переставали обстреливать наших. Не молчали и наши. Нам, штабу, удалось лишь ненадолго остановить орудийный огонь. Ненадолго потому, что часа в три загремели пушки у Алексеевского училища, где руководил неукротимый и неудержимый т. Демидов.

Помню, как т. Яковлева Варвара Николаевна подошла ко мне и, разводя руками, с искорками гнева в глазах спросила:

— Что же это вы делаете? Ведь ваши пушки продолжают разносить Москву.

— Нет сил удержать солдат,—ответил я,—попробуйте поговорить с ними.

Чтоб подтвердить свои слова, я подошел к нашему полевому телефону, соединился с Лефортовским районом, вызвал Демидова.

В трубку было слышно, как ахнул снаряд:

... Бухх!

— Демидыч, прекрати немедленно огонь. Это распоряжение Комитета, будешь строго отвечать за неподчинение.

Но Демидов при всей своей неукротимости не лишен был хитрости.

— Не слы-шу!—отвечает протяжно.

Снаряд опять: бух!

— Именем Военно-Революционного Комитета приказываю тебе прекратить огонь!

...Бух!

— Ни чорта не слышу. Ты лучше пришли распоряжение письменно.

— Хорошо, Демидыч, я посылаю тебе человека на автомобиле.

И опять снаряд: бух!

— Нет, на автомобиле не присылай, его обстреляют. Лучше на лошади и в коляске.

— Как же ты теперь-то слышишь, что я тебе говорю?

— Так вот присылай, брат, распоряжение, мне некогда.

И трубку Демидов бросил.

Снаряды безудержно ухали. Мое распоряжение о прекращении огня, посланное верховым, достигло до Демидова тогда, когда суточное „перемирие“ уже кончилось.

Помню также, как пошли укрощать наших и юнкеров на позицию у Никитских Ворот представители Викжеля и наш т. Савва-Степняк.

Переговорив с нашей стороной, эта „примирительная“ комиссия направилась к юнкерам. Юнкера пропустили к себе представителей Викжеля, а когда узнали, что Савва-Степняк наш, какой-то юнкер взял и выстрелил в него. Раненый в голову, весь обвязанный, т. Савва-Степняк возвратился к нам, а юнкера открыли огонь по нашим позициям, несмотря на „викжельские“ усилия примирить непримиримых.

Бои еще продолжались два дня. Победа наша была полной.

Когда наши мирные делегаты поехали в думу подписывать мир, мы, грязные, неумытые, с воспаленными от бессонницы глазами сидели в комнате Военно-Революционного Комитета.

Рядом со мной на диване т. Розенгольц, наклонившись к моему плечу, тихо, устало и по-дружески сказал:

— Надо будет заготовить приказ, что Муралов назначается командиром... или нет, комиссаром округа, а Рябцев должен ему сдать должность.

— Комиссаром или командующим?—спросил я.

— Комиссаром округа, но это и значит командующим.

„Командующим“, „комиссаром“, думал я и ничего не понимал, потому что большое дело делалось так просто. Напишу я своими каракулями: „сдать“, „назначается“, будет это голосоваться—и вот вам новая власть. Не верилось. Скорее я склонен был думать, что т. Розенгольц немного переутомился и как бы в полусне начинает заговариваться. Ну, пусть его заговаривается. Возьму и напишу. Написал. Барышня на машинке отхлопала этот приказ. Потом его голосовали, и тов. Муралов стал не просто Муралов, а командующий округом.

Через час т. Муралов стоял уже во дворе Совета около автомобилей. Вокруг него стояли т. т. Коган, Саблин, Лопашев, я и еще несколько товарищей. Все мы толкались в ожидании автомобилей.

Т. Муралов будто от нечего делать, ткнув пальцем в сторону Лопашева, спросил:

— Ну, вы какую должность будете нести?

— А там, кажется, есть должность „дежурный генерал“,—сказал кто-то.

— Ха-ха-ха „дежурный генерал“,—весело хохотали все.

— Ну, ладно,—заключил т. Муралов,—вы будете дежурным генералом.

— А я у тебя буду генералом для поручений, хочешь?—спросил т. Коган Муралова.

— Вали!—ответил Муралов.

И поехали мы на двух автомобилях в Александровское училище, а оттуда в Штаб. Подходя к Штабу с Всеволжского переулка, мы натолкнулись на генерала, служившего при Рябцеве. Генерал знал Муралова.

— Здравствуйте, т. Муралов!—сказал он,—а где бы, не знаете ли, я хотел бы попросить вас, где я могу увидать ко... ко... это, как его, комиссара округа.

— Я—комиссар округа,—ответил Муралов.

— Вы?.. Очень, очень приятно. Простите, а командующий?

— Я—комиссар,—еще раз подтвердил недоумевающий Муралов.

— Да это то же самое, что командующий. Это—командующий,—вмешался я.

— Ах, вот как!—генерал совсем растаял. Очень приятно, весьма приятно!—говорил он и козырял *).

Мы толпой проследовали в Штаб через двор.

В Штабе все комнаты были пусты и забаррикадированы грудами пыльных бумаг и синих папок с унылыми надписями казенного образца: „Дело". Окна разбиты, мебель в беспорядке расшвыряна. Два, три сонных писаря и какой-то седоватый полковник.

Вот все, что нам досталось от Рябцева.

На другой день были готовы приказы о назначении всех руководителей Штаба сообразно тому „распределению", которое делалось очень незатейливо во дворе Совета.

Так была создана новая военная власть. Создана была просто, естественно, даже не создана, а рождена движением, и, как всякое естественное рождение, омыта кровью.

---

*) Это был генерал Мигучевский, примкнувший к нам с первых минут нашей власти.

III.

Пламенная площадь.

Теперь эта площадь называется Советской, а раньше называлась Скобелевской. Она очень маленькая. И в самой сердцевине Москвы. Окружена домами, окрашенными в какой-то пламенный цвет. Потому ее скорее можно назвать площадью пламенной. Особенно ярко пылает своим напряженно розовым цветом бывший дом градоначальника.

Туда вошла революция, потом вышла на балкон и с балкона известила весь свет, что в сердцевине Москвы зародился Совет рабочих и крестьянских депутатов.

Едва только особенно счастливое весеннее солнце 1917 г. дотронулось своими золотыми лучами до зимнего снега, как всю необ'ятную Россию задел своим пурпуровым крылом мятежный ангел, который летел от тех полей, где дымились кровью не остывшие трупы войны и догорали срубы разрушенных домов.

Солдаты, раскрасневшиеся под веселым хмелем почти бескровной революции, со всех площадей Москвы уже послали небу тысячекратное „ура".

Лучезарное небо, горевшее калильным голубым пламенем эфира, приняло эти приношения и старалось разнести весть о них всему свету вихрями своих буйных весенних ветров.

А до этого времени, в продолжение долгих лет, сердце Москвы, что медленно билось в розовом доме градоначальника, было ущемлено сипло-звенящими шпорами градоначальнических сапог. Весной 1917 г. эти шпоры были выкинуты.

С этого дня маленькая площадь—сердце Москвы—все больше и больше пламенела. От этой площади во все концы Москвы через улицы и переулки развивались красные пучки лучей. У подножия Скобелевского коня не раз собирались толпы народа. К пламеневшему фасаду Совета не раз стекались солдатские полки, неся на блестящих штыках своих искры борьбы, которые, казалось, впивались в ка-

менные стены Совета, пронизывали их насквозь и вливали бодрость в Совет для великого, неизбежного восстания.

Это великое восстание человеческой массы во имя человечества началось просто, без колебаний, совершенно так же, как в старых книгах рассказывается про сотворение мира.

Октябрьский рассвет пробивался через большие окна в неуютную комнату Совета, в окна которой можно было смотреть прямо в глаза бронзовому Скобелеву, что возвышался на площади.

Розенгольц опирался локтем на какой-то большой стол, покрытый зеленым сукном. Неизвестно, почему именно здесь стоял этот стол. Неизвестно, почему именно в этой комнате царствовал будто нарочно произведенный беспорядок. Можно было подумать, что это не комната, а сцена, изображающая комнату, в которой происходила серьезная и ожесточенная перестрелка окурками папирос. Перестрелка, длившаяся целую ночь.

При тусклом свете осеннего утра, на фоне зеленого сукна, зеленое лицо Розенгольца казалось синеватым, как у угоревшего человека. Черная оправа его волос на голове, совершенно правильная, состоящая из ровных линий, казалась извечной чернотой безвоздушного пространства. Черные глаза его под нависшим лбом точно две птицы, притаившиеся в гнезде, казались далекими, далекими, глядящими из вечной тьмы.

Можно было как угодно близко подойти к Розенгольцу, можно было разглядеть, что борода у него плохо выбрита, что ворот синей рубашки просится в стирку и т. д. Но все-таки, все-таки глаза, эти два коршуна, будут парить далеко и высоко от вас, даже не в синем небе, а в черном пространстве, за небом.

Розенгольц своим поведением мне всегда напоминал существо, прилетевшее откуда-то из вселенских высот. Должно быть его внутренним, неосознанным правилом было, во-первых, „чем меньше скажешь—тем больше поймешь“ и, во-вторых, „смотри всегда вниз, а не вверх“, а для этого стой как можно выше, ибо „с горы виднее“ и, поэтому, спокойнее.

В Розенгольце есть одно удивительное противоречие: с одной стороны, он человек очень положительный (но совсем не покладистый) и покойный, а с другой—он почти никогда не принимает положительные и покойные позы. Так, если садится на стул, то стремится сесть как-то боком, будто от нечего делать; если идет заседание и все ломают головы над вопросом,—он сидит, развалившись на диване (как какой-нибудь фон-дер-Гольц-Паша), в самой непринужденной позе, а между тем ломает себе голову не менее

других. Это свойство революционера, который думать может во всяком положении и творить революцию так же вдохновенно-спокойно, как поэт пишет стихи.

Вот и в это утро, облокотившись локтем на стол и скривившись, как почмейстер в заключительной сцене „Ревизора“ изображает знак вопроса, Розенгольц тихо говорил мне и другим двум товарищам:

— Вам поручено организовать штаб. Вы примите меры и сделейте то, что надо для этого. Подыщите людей.

А глядя на него со стороны и слушая только голос, можно было подумать, что он говорит, примерно, такую фразу:

— Папиросы „Сэр“ я не особенно люблю, мне гораздо больше нравится „Дядя Костя“.

Потом Розенгольц куда-то тихо скрылся. Казалось, он сотни лет, как вечный дух, прожил в этих комнатах, ибо знал, где что находится и проникал из комнаты в комнату, будто сквозь стены.

Как синий утренний туман, Розенгольц проникал, исчезал и снова бесшумно появлялся...

Мы стали втроем организовывать штаб.

Серенький день расползался по углам комнат. Надменный бронзовый генерал Скобелев слегка заглядывал в окно из любопытства к тому, какой штаб могли организовать мы, мятежники.

К полудню штаб был организован. Комната Военно-Революционного Комитета была рядом со штабом.

Когда я вечером сообщил Розенгольцу о штабе, он слегка улыбнулся. Это означало полное одобрение. Розенгольц всегда так одобрял. Его одобрение выражалось прежде всего в „одобрении“ своего лица. А это достигалось маленьким намеком на улыбку.

Вечером этого дня нашему штабу уже пришлось приняться за работу.

Тут мне вспоминаются „двинцы“, сыгравшие крупную роль в нашей военной победе в Москве.

Двинцы, это—солдаты-узники Двинской крепости. Из Двинска они были переведены в Москву, где сидели в Бутырках. Фронт и тюрьма спаяли их в единую, сплоченную массу. Сплотившись, каждый из них индивидуально стал выше, чем был раньше. С полным сознанием и святым трепетом каждый из них относился к революции. С врагом они боролись смело.

Однажды днем, наши дали маху и подпустили броневик юнкеров почти к самому Совету, так что броневик „плюнул“ снарядом в стену Совета.

Мигом встряхнулись наши отряды. В ожесточенный бой с броневиком и защищавшими его юнкерами вступили „двинцы“.

Снаряд, ударившись в стену Совета, произвел немалую панику. Все вскочили, метнулись, столкнулись друг с другом лбами, потом снова разошлись в разные стороны и долго обсуждали событие.

Вскоре вбежал двинец Грачев, в дождевом плаще черного цвета с поднятым колпаком, бледный, как воск, с глазами, сверкающими, как два алмаза...

— Мы... Мы...—задыхался он и выкатывал глаза, как бы стараясь скорее глазами, чем словами, дать понять о том, что рвалось с его уст,—мы прогнали юнкеров до Спасских ворот. Прикажите брать Кремль!

— А городская дума?...

— Да что там „дума“, там уж давно я своими занял. Комитет удрал. Прикажите нам взять Кремль через Спасские ворота.

У нас в штабе планы насчет взятия Кремля были совсем другие. Я сказал:

— Нет, нельзя. Отведите свой отряд назад к Тверской улице, Грачев невольно стукнул по столу:

— Да что вы делаете? Погубим!..

— Будьте покойны. Слушайтесь.

Никогда в жизни не видал я лица, так перекошенного досадой.

Грачев, стиснув зубы, скрипнул ими так, что у меня под кожей черепа будто зашевелилось что-то. Глаза его, точно два острых ножа, вонзились мне в грудь. Через минуту он вынул их, отпустил.

— Слушаюсь. Только из-за дисциплины слушаюсь. Сейчас отведу отряд. Эх,—простонал он и снова стукнул по столу кулаком, но уже на этот раз грустно, так, как стукает первая горсть земли на опускаемый в могилу гроб.

И ушел.

Розенгольц спросил:

— Это кто был?

— Двинец,—ответил я.

— А-а.

И замолчал.

Через 20 минут донесли, что отряд Грачева отведен по приказанию.

Работая днем, мы по ночам дремали на окнах, стульях и столах. Только Розенгольц не смыкал глаз, а если и спал, то, казалось, с открытыми глазами.

Однажды во время такой ночи, под утро ко мне подошел тов. В. И. Янушевский и сказал:

— Пойдемте ко мне.

— То есть как к вам?

— Так. Пойдемте посмотреть мою комнату.

Янушевский—человек очень молодой, тонкий, даже хрупкий, с правильными чертами лица и той особенной походкой, которой ходят только деловые люди и только в сумрачных городах: в Петербурге, Лондоне, может быть, в Нью Йорке. Походка тихая, но решительная, скромная, но гордая. Глаза всегда серьезны, а в подбородке смех. На лбу печать возмужалости, а в щеках—мальчик. В наклоне головы простота и покладливость, а в линиях губ—надменность.

Идя впереди, Янушевский вел меня из корридора в корридор, из комнаты в комнату и, наконец, подвел к белой двери, у которой стоял часовой. Часовой, видимо, знал Янушевского—посторонился.

Тонкими, нервными пальцами Янушевский отпер дверь, и мы очутились в маленькой комнатке, уютной и чистой. Прежде всего бросался в глаза большой стол, сплошь уставленный предметами, которые продаются в магазинах оптических, электротехнических, оружейных, инструментальных, москательных и писчебумажных. Большой мягкий диван у стены манил к себе. Электрические лампочки словно солнце наполняли всю комнату. Незанавешенные окна напоминали черные заплаты в стенах. Осенняя ночь своими глазами упиралась в окна. И от этого во дворе ничего нельзя было рассмотреть. Только слышно было, как временами где-то далеко, далеко трещал пулемет.

— Вот это,—начал показывать свое богатство Янушевский,—электрический фонарик. Он очень удобен. Его можно надеть на пояс.

— А это что у вас? фуражка?

— Да, это, кажется, фуражка с японским козырьком.

— Вот как. А это что,—зажигалка?

— Да. Очень удобная. Видите—вот раз—зажглась, раз—потушена. Но это что, а вот у меня есть окарина, видите, маленькая такая.

— В самом деле. Вот изящный инструмент.

— Послушайте звук.

Янушевский сел на ручку мягкого кресла и заиграл на окарине. И вид у него был такой, как изображают пастушков со свирелью.

Хороший звук. Очень приятный звук окарины. И в комнате так светло. Вся борьба осталась там за стеклом.

Опять пулемет. Опять окарина. В голове какие-то облака. Облако находит на облако. Заслоняет одно другое. Это не тучи, а облака, потому что тучи—серые, а облака белоснежные. Белоснежные облака, потому что много яркого света в этой белой комнате. Облака тихо плавают в мозгу, оттого что звуки окарины плавают, колеблют воздух, оттого что трескотня пулеметов сотрясает уличную осеннюю

сырость. Облака наплывают на облака оттого, что звук окарины заглушает пулемет, пулемет заглушает окарину. Облака расстилаются в дым оттого, что зрачки глаз закрываются тяжелыми веками.

Нет ни окарины, ни пулемета. Ни того, ни другого— нет ничего.

Я был убит сном. Мягкий диван был теплой могилой...

— Удирают. Слышите, удирают. Что же вы дрыхнете?

Я воскрес. Не было окарины. И пулемет заглох. На конце моего дивана сидели Муралов и Розенгольц. А в углу, как пастушек со свирелью в руках, сидел Янушевский и держал окарину.

— Удирают,—прохрипел еще раз Муралов.—Понимаете— юнкера удирают через Брянский вокзал. Их надо задержать на мосту.

— Конечно. Идемте, организуем,—сказал я.

Муралов, Розенгольц и я двинулись через корридоры в штаб.

А Янушевский, — одинокий пастушек со свирелью,— остался в комнате.

Подпоручик Владимирский с отрядом солдат отправился к Дорогомиловскому мосту задерживать юнкеров.

С рассветом загрохотали пушки. Пулеметы забили дробь своими свинцовыми зубами. В Военно-Революционном Комитете машинки стали выклевывать на бумаге наши приказы.

Пламенная площадь рделась за окном в осеннем тумане. А бронзовый Скобелев хмурил брови и гнал, гнал своего коня вон из Москвы.

Городская дума была уже нашей. Кремль тоже. Юнкера оказывались в положении крыс на тонущем корабле. Серые волны солдат начинали заливать улицы и переулки Москвы. Юнкера и офицеры метались.

Огненные языки побеждающего восстания уже облизывали стены Александровского училища—этой цитадели, где сидели лучшие полководцы царской армии—заслуженные, убеленные сединами генералы, покрытые крестами отличия вояки-офицеры.

Ничто не помогло. Солдат победил офицера. Пламенная площадь отвоевала Москву у помещиков.

И теперь, когда Москва становится центром мира, а Кремль—центром России, пламенная площадь остается центром Москвы.

IV.

Падение градоначальства.

Из бывшего градоначальства на нас сыпали пулеметный и ружейный огонь. Мы пробовали подступать цепями. Безрезультатно. Белогвардейские пулеметы работали. Когда и как они успели засесть туда—одному богу известно. Первый день наших сражений они не подавали признаков жизни. Часа в два дня они открыли огонь.

Как раз в это время к нам стали примыкать те, кто еще вчера колебался, но в ком действительно заговорило сердце революционера.

К нам в штаб пришел тов. Саблин, тогда бывший левым эсером. „Давайте мне приказ, боевой приказ“, попросил он.

Получил и отправился с небольшим отрядом, человек в 25 к Страстному монастырю. Как раз у Страстного монастыря стояли 3-х дюймовки. Все три пока что еще молчали. Вообще надо сказать, мы раскачивались весьма медленно.

Приблизительно, через полчаса по полевому телефону тов. Саблин звонил нам:

— В градоначальстве много юнкеров. С таким отрядом, как у меня, ничего сделать не могу. Дайте распоряжение, я хоть раза два их снарядом покрою.

Это было еще во второй день сражений, и мы к орудиям и снарядам относились еще с некоторой деликатностью... Вся артиллерия Москвы была в наших руках, а мы все еще жались и стеснялись.

Часа в четыре С а б л и н „бухнул“ раз, потом тут же два и смолк.

Вслед за тем, тот-час же в том районе прекратилась ружейная и пулеметная стрельба. Все стихло. Что-то странное.

Я вышел из здания Совета, желая направиться к нашей батарее, у Страстного монастыря.

Только что вышел на площадь, как навстречу мне бежит Саблин и кричит мне:

— Что вы делаете, что вы наделали, что вы делаете?!

— Что такое, что такое?!

— Да как же, видите, видите!

И вдалеке, по Тверской, шла большая толпа. Я все еще не мог сообразить, в чем дело.

— Разве можно двадцать человек для такой операции. Посмотрите их сколько. Они могут разбежаться, наших не хватит их охранять.

— Кого их?

— Градоначальство. Вся эта сволочь, что там сидела, сдалась целиком. Всего только два снаряда пустил, они— носовой платок вывесили. Сдались.

Мы с Саблиным стояли на том самом углу, где теперь кафэ „Кузница". К нам на площадь подошла толпа самых разнородных людей. Тут были и юнкера, и студенты, и гимназисты, и чиновники градоначальства, всего человек 300. Все с поднятыми вверх руками. Их окружало всего человек 15 наших товарищей солдат.

— Держи руки вверх, чорт! Не опускай!

— Что, сволочь, пулеметом работал?!

— У-у помещичья жила!

Так наши „подбодряли" пленных, которые с руками, поднятыми кверху, казалось, молились осеннему серому небу.

К нам подошел старший из отряда.

— Они еще не обысканы, может у них оружие где есть.

— Обыскать надо.

— Да, что там обыскать. Просто запереть их куда-нибудь.

Вот задача, куда их запереть. Как раз лагерей-то для пленных мы не заготовили.

Из Совета на помощь товарищам выбежало еще несколько солдат.

— А давайте их в конюшне запрем. Лошадей, так можно вывести во двор,—посоветовал мне кто-то.

— На тот свет их, а не в конюшню,—раздались голоса— они порядком нашего брата помиловали.

— Веди, веди их в конюшню. Распорядись, чтобы в конюшню. А то растерзают, растерзают—шепнул мне Саблин.

Решено было отправить их в конюшни во дворе Совета. Лошади фыркали. Их выводили во двор, а туда вводили сдавшихся белогвардейцев.

Жалкое это было зрелище.

Особенно чиновники пожилые, с трясущимися подбородками, со слезящимися глазами. И юнцы, гимназисты, студентики, как цыплята бессмысленно смотрели на нас, уходя в темные вонючие конюшни.

Никто из них не проронил ни единого слова. Это просто в буквальном смысле слова было какое-то стадо двуногих животных, лишенных способности издавать звуки.

Жалкое это было зрелище.

В наших конюшнях были заперты отборные трусы, дрожавшие за собственность помещиков и власть капитала.

А мы? А мы тогда были еще не ожесточенны в бесчисленных битвах с врагами.

Мы в ту же ночь поочередно допросили всю эту свору в 300 человек. Все каялись, все ударяли себя в „перси“ и клялись всеми богами, что были увлечены, совращены, обмануты, но что теперь, да, теперь... Навсегда и безраздельно они сторонники Советской власти.

Один только юнкер расплакался, назвал себя большевиком. Боясь расстрела, должен был итти вместе с юнкерами. Нашлись в штабе знавшие его. Этот юнкер был не только освобожден, а стал в наши ряды восставших за диктатуру пролетариата. И все время до нашей победы был с нами.

Так от двух снарядов рассыпалась одна из „твердынь“ белогвардейской „крепости“.

V.

Золотые погоны.

Однажды в казарме—во времена керенщины—меня позвал к себе в кабинет полковник Осепьянц—он знал, что я большевик.

— Скажи пожалуйста, дорогой мой, какая разница между двухпалатной и однопалатной системой управления?

Я об'яснил.

— А та, та, та. Понимаю,—вскричал полковник и глаза его заблестели разрешенной догадкой.—Значит, при однопалатной системе большинство будет крестьян...

— Конечно.

— И, значит, в таком случае мужики смогут провести закон, чтобы отнять у нас землю.

— Разумеется.

— У-у-у. Теперь я понимаю. Умный голова у большевиков, умный голова. Поэтому нельзя вам ни на какое согласие со старыми классами итти. Это здорово. Умный голова. Значит, нам, дворянам, каюк. Ничего. Теперь можешь итти, душа мой.

И полковник остался в большом размышлении о печальных последствиям, вытекающих из однопалатной системы управления.

А другой полковник, Рябцев, не колебался.

В Кремле, в казармах 56-го караульного полка, окруженный солдатами, Рябцев спокойно и уверенно говорил Муралову:

— Ну, что вы мне рассказываете и стращаете меня. Стоит мне пять минут поговорить по аппарату с фронтом, и вы будете раздавлены.

— Не увлекайтесь, полковник, не увлекайтесь,—предостерегал Рябцева тов. Ярославский.

А потом долго ночью, в Кремле, в помещении, около Успенского собора полковник Рябцев, капитан Наумов, полковник Осепьянц и другие полковники с беззаботностью обреченных людей высчитывали, как скоро можно разда-

вить болячку, которая засела в Московском Совете и называлась Военно-Революционным Комитетом Москвы.

Никому из них и в голову не приходило, что эти несчастные полуштатские, полусолдатские шляпы и шапки через несколько дней сядут в Кремле властью.

Впрочем, в глубине своей души, полковник Осеньянц иногда схватывался.

— А ведь тут вопрос не только власти, но и земли. Землю-то большевики мужикам отдают, а мужики, солдаты, как бы они в самом деле нас того... не погнали.

Попробовал он это сказать рядом сидевшему капитану с немецким лицом и усами кота.

Капитан поморщился, фыркнул и бросил:

— Ах, абсурд: у них ни одного командира.

— А все-таки... усомнился в последний раз полковник.

VI.

Мужик и барин.

К вечеру 27-го октября „мужичье“ в серых солдатских шинелях повалило к Совету.

Их по казармам вызывали от М. К. (Московский Комитет Коммунистической Партии), от Ц. К. (Центральный Комитет Коммунистической Партии), от Военно-Революционного Комитета, от Совета Рабочих Депутатов, от Совета солдатских депутатов, от районных партийных комитетов, от районных военно-революционных комитетов именем будущей Советской власти, именем земли, именем коммунизма, именем революции, именем Ленина.

Ночью было дело. И солдаты, заспанные, чесались, одевались, ругались и шли, шли, шли нескончаемым потоком на Скобелевскую (ныне Советскую) площадь. Набились в Совете до такой степени, что сельди в бочках вполне могли бы им завидовать. Лестницы, коридоры, переходы, темные уголки, подоконники, дверные притолоки, перила лестниц— все это, вместе взятое, было коллективной опорой для серой, спокойно-строгой массы.

А Рябцев по телефону предлагал сдаться.

— Что же делать? — спросил Ногин Военно-Революционный Комитет, отходя от телефона после разговора с Рябцевым.

— Погодите, пойду еще раз поговорю, — сказал Муралов. Хлопнул одною полою шинели о другую и загрохотал в телефон.

— Все равно напрасно. Это напрасно, ей-богу, — уговаривал он Рябцева.

Настоящие революционеры знают цену человеческой крови и дорожат ею.

Но и Муралов говорил безрезультатно. Употел, сбросил шинель.

Наступило краткое молчанье. Но в нем звучал вопрос:

— Что же делать?

— А можно сказать только одно,—как бы отвечая на этот вопрос, стал рубить слова Иван Иванович Скворцов,

кто боится смерти, пусть покинет это здание. А остальное все пойдет...

И сразу все почувствовали облегчение. Скворцов сказал то, что надо, а надо сражаться, победить или умереть.

Другого не может быть, раз масса сама пришла в бывший губернаторский дом. Пришла спокойно, с непреклонной решимостью дом губернатора превратить в дом полновластного Московского Совета.

И началось.

Через Красную площадь шли „двинцы"—мужички разных полков, но сидевшие вместе в Двинской тюрьме за „большевизм".

В них стали стрелять юнкера-баре, тоже из разных концов собранные на защиту буржуазного имущества.

В это время в самой верхней комнате Совета мы с одним товарищем подошли к с.-р. Шубникову (член президиума Совета Солдатских Депутатов, ставший на сторону „золотых погонов"), он стоял около телефона.

— Ваш телефон снимается.

— Как! Вы не имеете права.

Мы подошли и просто срезали телефонный провод.

— Это... это...—запинаясь, начал было негодовать Шубников и побежал вниз.

Спустились и мы с телефонным аппаратом в руках.

В наших-то узких дверях столкнулись с „двинцем". Потный, взмыленный, но не растерянный. От него пахло порохом.

— Стреляли и мы и пробивались...—невнятно говорил он о событиях на Красной площади.

Может быть это долетело до уха Шубникова. Он мелькнул мимо нас и ушел... из Совета для того, чтобы больше никогда не вернуться в него. Он ушел в Думу к Комитету „Спасения Родины и Революции"... под командой „золотых погонов".

Мы пробирались из комнаты в комнату сквозь толщу солдат, пробирались к нашему штабу и снимали по пути телефоны.

В узких дверях, почти у комнаты штаба, мы столкнулись с двумя с.-р. В руках одного шуршал бумажный проект какой-то компромиссной резолюции... Я взглянул на с.-р., потом на бумагу. Как-будто даже сама бумага покраснела, а у с.-р. прилип язык к гортани.

И все-таки с.-р. спросили:

— „Вы думаете, что уже все сказано, а мы бы хотели предложить"...—И мы опять встретились друг с другом глазами.

С.-р. не выдержал. Что-то сказал другому. Посмотрел беспомощно вокруг себя, куда-то двинулся. Потом оглянулся на меня.

— Мы бы с Ногиным хотели поговорить.

— А не поздно ли?—спросил кто-то.

И с.-р. пошел по неопределенному направлению среди массы солдат, как есть щепка во время ледохода, который прет ее, а куда прет, она и сама не знает.

Между тем, в разных концах Москвы уже пролилась кровь.

На нашей стороне было спокойно, хотя меньшевики в меру своих сил и производили дезорганизацию. Они были как бы заведующими паникой и старались сеять ее в Думе и в Совете.

Дня через 4 в Думе застрелился какой-то ад'ютант. Видно, там колебались.

А у нас уверенность доходила вот до чего. Однажды явился какой-то солдат и сообщил:

— Мы пушку волочем с Садовой.

— То есть, как „пушку“? А прикрытие-то у вас есть?

— Прикрытие... солдат, рослый детина, виновато помолчал:—у нас нет прикрытия. Это действительно.

— Так, ведь, пушку эту вашу юнкера отбить могут.

— Могут,—уныло соглашается солдат.

— Так как же вы?

— Ничего, зачем отымут... Не отымут. А вот я сейчас разузнаю.

Ушел. И через полчаса донес, что пушку „приволокли“ к Страстному монастырю.

На восьмой день, когда почти все замолкло и только т. Демидов рычал из своих тяжело-осадных орудий, протаранивая кадетские корпуса, я вышел на площадь. Накрапал мелкий дождь. К нам только что вернулся т. Смидович с подписанным „миром“. Небольшие отряды солдат фланировали по Тверской.

На площади маленький, улыбающийся, все наблюдающий стоял т. Томский.

— Победили?—спросил он меня.

Я ответил.

— Это не даром такие бои именно в Москве, в столице дворянства,—говорил Томский.—Тут мужик дрался с барином. И мужик победил барина.

— А ну-ка, дай, товарищ, прикурить.

К нам подошел тот самый детина-артиллерист, который „волок“ пушку с Садовой. Во рту у него была козья ножка с махоркой.

— Вот он, видите,—сказал Томский, указывая на детину,—нешто такой мог не победить. Мужик.

А солдат между тем сел на передок трехдюймовки, стоявшей на площади, и, болтая ногой, спокойно глядел вдоль пустой, притихшей Тверской улицы.

И в лицо ему моросил мелкий осенний дождь.

VII.

Генерал Гвоздев.

— Пропустите, товарищ, пропустите.

— Господи, куда вы лезете. Соблюдайте очередь.

— Да я с запиской от Муралова из его кабинета.

— Что-ж из этого? Я сам с запиской, да стою тут целый день.

— Виноват, разве не здесь выдают пропуска на выезд.

— Не знаю. Здесь штаб округа! У меня отобран револьвер. Вы не знаете, могу ли я его здесь получить?

— Господа, позвольте пройти. Я только для справки по поводу ареста брата.

— Э, друг, нынче уж нет господ. Вы, должно быть, меньшевик, что так говорите.

— Меньшевик. Ха-ха-ха. Вот понятия-то!

— Прошу не выражаться!

— Вы в Ростов-на-Дону?

— Нет, хлопочу пропуск в Елизаветград. Здесь невозможно. Никак невозможно. Все мое состояние вчера было опечатано.

— А не знаете, что будет с золотом в сейфах?

— Не толкайтесь. Раз пришли, то и ждите!

Все эти разговоры происходили за дверьми новых военных властей.

Бывшие офицеры, испуганные обыватели, дрожащие за свое добро, студенты и прочий сборный люд,—все стучались в двери новой власти. Тут были и беженцы к Каледину, и авантюристы, и кавалеристы, и всесветные проходимцы, и просто несчастные, и пленные, и инвалиды, и затхлые старики, слегка свихнувшиеся от перепуга.

Казалось, что гремевшие вчера орудия опрокинули Москву вверх дном и из нее посыпалась вековая людская пыль.

Молодая новая власть, состоящая из вчерашних повстанцев, первые дни буквально была задавлена просителями и искателями всех рангов. Молодым повстанцам, еще вчера державшим винтовку, трудно было перейти сразу к перу

и подписывать разрешения, удостоверения, распоряжения и проч., и т. п.

Перед новыми властями, как грибы после дождя, вырастали люди, которые все умели и знали.

В казенных зданиях откуда-то появились коменданты, словно родившиеся из пыли прямо в комендантском кресле и с ключами от цейхгаузов. Оказались какие-то заведующие хозяйством, бог весть кем и когда на это уполномоченные. Целой толпой хлынули какие-то „представители“ и уполномоченные“ от каких-то учреждений, не существующих на земном шаре. Эти „представители“ делали без запинки обширные „доклады“, кончавшиеся неизбежно „испрашиванием“ кругленьких сумм. Словом, Москва-матушка тряхнула своими проходимцами высшей и низшей марки. Тряхнула всем тем, что на русском языке называется попросту „Хитровкой“ в самом обширном смысле этого слова.

Когда все оболочки жизни лопнули, „Хитровка“ показала, что она не только некоторое географическое место в Москве, но целый слой российского населения. Тут и дворяне, и крестьяне, и мещане. Богатые и бедные; знатные и никчемные. Духовные и еретические босяки, живущие по правилу, „как птицы небесные, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы“.

В старое царское время мне довелось знать одного из этаких „пострелов“. Правда, человека „низкого звания“, босяка. Имя его „Ванька-Нос“, а замечателен он был тем, что промышлял себе пропитание точь в точь как птица; залетит, например, он в булочную, шлепая своими лаптями, быстрым шагом подойдет к приказчику, что потолще и подобрее, поставит свою просительную лапу и, глядя наглыми глазами, отчеканит: „Ясному щеголю, московскому козырю мягкого ситного—много и быстро!“

Приказчики посмеются и сунут ему в руку французскую булку. И Ванька-Нос, подпрыгивая на одной ноге от холода, бежит в другую лавку.

А сколько их таких стрикулистов-то на верхах, где они промышляли не прибаутками, а лобзанием руки какой-нибудь графини Игнатьевой и получали не французскую булку, а иногда французское посольство, или русский Синод, или еще что-нибудь в таком же роде.

Вот к дверям новых властей в первые дни и хлынул целый поток таких „ясных козырей“, „московских щеголей“.

Случайно мне довелось познакомиться с одним таким „козырем“ высшего полета.

— Позвольте вам представиться: генерал Гвоздев,— сказал он, войдя в кабинет.

— Садитесь.

— Мерси. Слушаюсь.

На меня смотрели раздутые ноздри сизого носа, на котором колебалось пенснэ. Под носом блестели толстые губы, привыкшие к маслу и вытянутые немного вперед. Бритые серые щеки отвисали так, словно кто-то из озорства оттянул их вниз, желая лицо генерала сделать похожим на морду слона.

Уши этого существа были лопоухи, оттого что, повидимому, с величайшей осторожностью прикладывались не только к замочным скважинам дверей, но и к ящикам письменных столов. Мне казалось, что уши его и сейчас немного пошевеливаются, как бы прислушиваясь—нет ли какого шороха в моих карманах...

Но глаз генерала я не видал... Они скрылись около переносицы, закатившись за бугры щек. Будто Гвоздев смотрел не глазами, а стекляшками своего пенснэ.

Я был немного смущен тем, что генерал долго не начинал разговора, и лишь внимательно рассматривал, обнюхивал и выслушивал меня. Если бы не сдерживающие рамки приличия, то он, вероятно, и ощупывал бы меня. Особенно, я думаю, карманы.

— Видите ли, я, собственно...—начал генерал.

Потом достал из кармана какой-то маленький лекарственный флакончик и выпил из него что-то.

— Я, собственно... Вы знаете, кто я? Нет, наверное. Я был чиновником особых поручений при графе Коковцеве. Но сам москвич. Всех московских жуликов я знаю по фамилиям. Адреса всех притонов у меня вот, здесь, в кармане. Вы знаете кафэ „Элит“? Если нет—могу много рассказать. А знаете, кто собирается в польской столовой на Тверском бульваре? Знаете ли вы, что в кафе, у Охотного ряда бандиты каждый вечер устраивают оргии? А не угодно ли вам, чтобы я рассказал вам про очень опасную деятельность баронессы Дебот или про генерала Эверта, который теперь приехал в Москву? Или, быть может, вы хотите, чтобы я начал работать у вас с маленьких ролей? Извольте. Я могу, например, изловить и представить вам всех карманников в „Летучей Мыши“—там их всего больше—и в других театрах. А то, если хотите, изловлю железнодорожных проводников и начальников станций, которые торгуют целыми вагонами сахара и мяса. Угодно вам проверить мою осведомленность в этом деле? Пожалуйста, к вашим услугам, стоит только вам вместе со мной направиться сегодня в один подвальчик, где соберутся воры, фамилии которых я вам могу назвать вот здесь сию же минуту. Эти воры должны будут на-днях грабить один из ваших складов. Если это вас шокирует, могу предложить вам отправиться со мной в один дом—два шага отсюда, на Арбате. Там вы

увидите настоящих банковских мошенников, которые могут открывать сейфы, брать деньги с текущего счета, заложить или продать предприятие и проч., и т. п. И все это будет сделано наизаконнейшим образом. Скажите теперь мне, неужели вы не хотите оградить общество от мошенников? Мошенник, о, великий мошенник—гвоздь и язва нашего общества. Скорее можно найти какую-нибудь мазь от полысения или от угрей, чем какое-либо средство от мошенника. Мошенник лезет всюду. От него нет законов, ибо он очень часто выбирает позицию недалеко от того, где пишутся законы. Он издевается над законом и плюет ему в глаза. Если бы на мне не было православного креста, то я сказал бы прямо, что мошенник выше бога, ибо он талант. А талант—это бог над богом. Мошенник—восторженный факир и в то же время расчетливый шахматист; он гадатель и пес, вынюхивающий добычу по следам; он хулиган, скуловорот, зубодробитель и вместе с тем денди. Утонченный, избалованный денди; модный и гладкий джентльмен. Мошенника я всегда называю „лорд мошенник". Для него нет правил и нет полиции. Мошенник не только всемогущ и вездесущ, но и всетворящ. Не полиция может изловить мошенника, а талант. Только талант. Вот, например, я. Если бы вы мне дали право, то

. . . . тогда
Я б расставил мышеловки
И мошенники с Хитровки
Все попали бы туда.

Извините меня, я немного поэт. Впрочем, это пустяки, а главное то, что для поимки мошенников, так же, как и для поимки мышей, необходим маленький кусочек ветчинки. Обеспечьте меня этим—тут Гвоздев движением пальцев намекнул на „денежку",—и все мошенники Москвы будут у вас в кармане, а в городе будет тишина и горожане будут за вас свечки ставить.

О, я знаю, вы вероятно думаете, что я старый бюрократ и на меня положиться нельзя. Ошибаетесь. Я, правда, бюрократ. Но ведь мы, бюрократы, умеем разбираться куда лучше вашего брата, то-есть людей с рассужденьицем. Вы молоды и хрупки в работе. В нашей работе есть только одно святое правило: „гони деньгу", и мы дело сделаем. Эти правила жизненны при всяком строе, и во-веки веков, ибо разве был пойман хоть один крупный авантюрист, иначе чем по правилу „гони монетку"?—Нет, нет и нет. Экхе, экхе, экхе...

Генерал Гвоздев закашлялся, и брызги его слюны разлетелись по столу.

Я рад, что он остановился, ибо я никак не мог его

прервать, а между тем поток этой мутной, грязной речи, казалось, отравлял воздух, стены, предметы в кабинете.

Прокашлявшись, генерал вынул какую-то баночку, наполненную беленькими шариками, и проглотил несколько из них.

— Это наркоз,—пояснил он мне.—Не могу без него: спаситель от всех болезней, делает меня духовным, отрывает от земли.

Чтобы отделаться от невыносимого генерала, я углубился в рассматривание бумаг на столе.

Генерал Гвоздев встал и подошел к окну. Слегка присев на подоконник, он смотрел все время одним глазом на меня, другим на улицу. Улучив минуту, генерал украдкой привычно быстрым движением руки вынул из кармана жилета что-то очень маленькое. Быстро работая ноздрями, понюхал это и снова потом так же жульнически опустил в карман.

Нечаянно со стола у меня упала бумага. Генерал подскочил, извернулся под стол как кошка, достал бумагу и, сразу снова сев в кресло, сказал:

— Вы знаете, как я работал при Коковцеве?—Нет? Где же вам знать, молодые наши вельможи!

Однажды Коковцеву надо было провести один финансовый проект. Призвал Коковцев меня к себе и говорит: „Завтра в „Новом Времени“ будет моя статья по поводу моего проекта. Вот ее копия. Просмотри и чтобы после завтра была бы твоя статья в „Биржевке“, которая опровергала бы мою“. Я, конечно: „Слушаюсь“—и готово—работа закипела. Коковцев одну статью, а я другую, против него. Он мне ответ, а я его опять „покрываю“.

Пригласит, бывало, Коковцев опять и говорит: „Смотри в оба: что бы я ни писал—ты знай меня опровергай и больше никаких. А как проведем проект, награжу“. Понятно, я старался во всю. Такую завели полемику в газетах, ну просто любо почитать. Тут и другие писаки разделились на два лагеря: одни за Коковцева, другие - против. И ведь никому и в голову не пришло, что чиновник особых поручений опровергает своего патрона по его прямому приказанию. И что же? Проект Коковцева был принят. Само собой, разумеется, я поработал не даром и получил хорошую „монетку“. Впрочем, и Коковцев был не в убытке; он получил графский титул. Здорово? Вот и вам могу так же работать. Хотите?

— Виноват. Позвольте,—прервал я снова генерала.— Ведь мы военные власти, а то, что вы говорите о ворах, относится скорее к уголовной милиции.

— Простите великодушно. Понимаю. Но разве не хотели бы вы на таком рысаке, как я, обогнать милицию и

пустить ей пыль в нос. Раньше, бывало, мой приятель Джунковский любил этак обогнать...

— Виноват,—еще раз перебил я, встал и поклонился.

— Понимаю. Слушаюсь. Разрешите все-таки за ответом зайти к вам завтра.

— О, нет.

— Слушаюсь. Я тогда зайду к Муралову. Кстати: у меня к нему есть дело. Он просил меня зайти. О, если бы вы были столь любезны подписать...

Из пухлой руки, на пальцах которой были остро отточены длинные ногти, выпала прямо на стол бумажка с моим официальным бланком следующего содержания:

„Тов. Муралов, прошу вас принять бывшего генерала Гвоздева, который может быть нам очень полезен. Не мешало бы его вообще поближе поставить к нашей работе".

Не успел я опомниться от впечатления невиданной дотоле липкой наглости, чтобы соответственно реагировать на нее, как генерал Гвоздев, не желая рисковать ничем, исчез из моего кабинета моментально и бесшумно, словно испарился.

А ночью, когда я на автомобиле возвращался домой, и снежный вихрь, переплетаясь с шумом мотора, справлял свою свистопляску в колесах автомобиля, чудилось в этой свистопляске хриплое дыхание Гвоздева. На поворотах, когда в моторе скрежетал конус, мне чудился старческий крик генерала: „Мошенники, мошенники, святители мошенники", а вихрь, как косматый разбойник, вырвавшийся из-за угла, будто вопил неистово в ответ генералу: „Гони монету, гони монету, гони монету".

Но шоффер мой гнал автомобиль все быстрее и быстрее, как будто генерал Гвоздев догонял нас, чтобы своей рукой когтеногого хищника схватить нас за глотки.

Через несколько дней на докладе товарищ сказал мне:

— Сюда доставлен для допроса из Александровского училища епископ камчатский Варнава.

— Пригласите.

Допрос епископа длился около часу, после чего я об'явил ему, что он свободен.

— Виноват, простите,—сказал епископ,—я хотел бы обратиться к вам по личному делу... Видите ли, когда я сидел в Александровском училище, у меня стража отобрала деньги и крест. Дело вышло так: когда я был посажен в камеру, то там уже находился некий человек, который встретил меня очень приветливо, но предупредил, что он все же страж, и помещен внутри камеры для более тщательного наблюдения за арестованными. Сей страж показался довольно развитым и кроме того выделялся от дру-

гих арестовывавших и охранявших меня людей, почти отроков, тем, что был изрядно преклонного возраста. Впрочем, в нашей каморке было темновато, и я затруднился бы описать вам его наружность. Могу только сказать, что он был бритый. Осмотревшись немного и помолившись богу, я осмелился спросить своего стража о том, что же теперь со мной будет. „Ваше преосвященство,—сказал страж,—бдите и молитесь, ибо вскоре отсюда вас поведут в тюрьму. А в тюрьме не то, что здесь, у нас. Нравы в тюрьме крутые. Самое же главное в том, что все мошенники и сплошь латыши. А латыши—известно, что за люди. Самое происхождение их на русской земле уже мошенничество. И кроме того, это семя антихристово. Это не нация, не народ, а племя великого зверя, из коего рождается ныне Хам, т. е. Антихрист. Сие богопротивное племя знает человеческую слабость—это деньги и золото. А посему, ваше преосвященство, с ними будьте строги и подозрительны, наипаче же спасайте от рук нечестивых деньги и, самое главное, ваш златый и многоценный крест. Не дайте изуверам и противникам Христа надругаться над святыней. Я хоть и служу у них, но только „страха ради иудейска“. Я принужден служить, не могу не служить. Но все-таки я, ваше преосвященство, русский человек и уже одной ногой в могиле. Шутить и лгать не позволяют мне года. Поэтому служу им, а спасать буду вас и других православных, да не посмеются над вами и над вашим крестом сии неверные“.

Мой страж расстроился и закашлялся. А я без того был сильно встревожен всем. Плохо разумел, что происходит вокруг меня, но видел, что страж говорил искренно. Речь его волновала и покоряла меня. Прошло несколько часов. В камеру вошел молодой высокий латыш и об‘явил мне, чтобы я собирал свои вещи для отправления куда-то. Едва только вышел латыш в корридор, как страж, помогая мне одеваться, заметил своим свистящим голосом мне в ухо: „Ваше преосвященство, спасите хоть крест, если не хотите спасти ваши монеты. Пусть мирское благо пропадет, но—спасите Господнее“. Я был в волнении и не знал, что делать. Страж взял меня за обе руки и прошептал: „Давайте, преосвященный, и то и другое. И мирское, и Господне. Я перешлю вам в тюрьму. Следом за вами на имя начальника тюрьмы. Тотчас же. Спасите. Ведь латыши мошенники“. У меня стучало в висках. Я плохо разумел, что происходит. Второпях снял свой крест, вынул кошелек с деньгами и отдал все стражу, который успел только прожужжать мне на ухо: „Клянусь, клянусь, преосвященный, ныне же к вечеру это добро будет у начальника тюрьмы. Спросите у него. Он один там православный и русский. Благословите, ваше преосвященство“... Но тут снова вошел латыш, и меня вывели.

К моей великой радости меня отправили не в тюрьму, а к вам. Пока я шел сюда, то свежий воздух, московский люд спешащий, спокойные солдаты, сопровождавшие меня и непохожие ничуть на того странного стража, посеяли во мне большие подозрения. Я подумал, обманут я или нет? Вот почему, вы меня простите—я столь долго задержал вас подробностями моего повествования. И теперь: ради бога, прошу вас узнать, где мой крест и деньги. У меня было денег свыше четырех тысяч...

Когда епископ Варнава кончил свой рассказ, я по телефону навел все нужные справки и установил, что ни один из начальников тюрем денег и креста не получал, потому что с епископом в камере сидел не страж, а арестованный генерал Гвоздев. Ни креста, ни денег у него уже не обнаружили.

Прошло два дня и я случайно узнал, что по целому ряду уголовных дел, пропитанный эфиром, кокаином и всякой житейской пылью генерал Гвоздев был расстрелян.

VIII.

Октябрьская Революция в Учредительном Собрании.

Позволю себе, как члену Учредительного Собрания от Тверской губернии, вспомнить несколько моментов из этого времени, когда мы собрались заседать в Таврическом Дворце.

Собрались с утра. Открытие предполагалось в 4 часа. Но шел уже шестой час, когда фракции все еще по разным комнатам совещались.

Впрочем фракции правых эсеров и меньшевиков раньше других находились уже в зале заседаний. Шумели, сетовали на нас, коммунистов, за то, что долго не появлялись. Наконец, пришли и мы. Едва успели мы занять места, как все собрание странно так притихло, словно перед грозой. Потом с длинными волосами, с коричневым иконописным лицом, на пустую трибуну тихими шагами вошел эсер, старик Швецов. Большой и неуклюжий, как медведь. Немного косолапый.

— Старейший, пусть старейший откроет.

Раздался шопот с разных углов на эсеровских скамьях.

Как самый старейший из членов Учредительного Собрания, Швецов вышел на трибуну.

Стало еще тише. Швецов взял большой звонок. Громадный, седой, сгорбленный, он символизировал собою последний образ старого строя, венцом, завершением которого является Учредительное Собрание.

Казалось, и говорить не надо больше никаких слов. Не надо было говорить. Это был бы молчаливый апофеоз парламентаризма, слишком поздно ожившего на смену феодальной, самодержавной монархии, ожившего только для того, чтобы показать себя со звонком в руках. Показать себя и сейчас же, так же молчаливо уйти.

— Граждане...—заговорил Швецов.

К чему заговорил? К чему этот старый, одряхлевший парламентаризм вдруг пред'явил свои права?

— Граждане...—еще раз произнес Швецов.

Не знал, что же надо дальше за этим словом говорить. Не надо было говорить.

— Граждане,—все еще мялся „старейший“ из членов Учредительного Собрания.

А сзади его сидел Свердлов—Председатель Центрального Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов. Председатель и представитель совсем другого строя, молодого едва зародившегося в рамках буржуазного парламентаризма.

Так и не сказал ничего путного Швецов.

Шумело собрание—Учредительное Собрание. Галдеж с минуты на минуту рос. Швецову нельзя было говорить.

Эсеры апплодировали. Мы, большевики, кричали:—„Вон, долой!“.

Одни приветствовали, другие старались прогнать этот бледный призрак последнего парламентаризма.

И вдруг за спиной Швецова показалась черная фигура Аванесова. Он взял звонок, болтавшийся в руках Швецова. Швецов оглянулся беспомощно, сначала направо, потом налево. Старейший член Учредительного Собрания без звонка—это обезоруженный парламентаризм.

Швецов оглянулся назад и увидел, что прямо на него, ему на смену двинулась тонкая, смелая фигура Свердлова. Швецов видел, как Аванесов передал звонок Свердлову. Свердлов подошел и встал рядом со Швецовым.

Две фигуры стояли перед собранием—перед Учредительным Собранием: старейшая и революционная. Теперь эсеры кричали: „Вон! Долой!“, желая прогнать черный, смутный силуэт новой жизни, а большевики дружными апплодисментами приветствовали уже зародившуюся новую власть, представленную маленькой черной и сильной фигурой Свердлова.

И ушел Швецов и с ним вместе по ступенькам вниз сошел весь старый либерально-демократический парламентаризм.

И беспомощно, и бессильно, как волны об утесы, взревели эсеровские ряды. Закачались фигуры, головы. Замелькали в воздухе руки. Неописуем был гнев Учредительного Собрания, на трибуне которого стоял спокойно, непоколибимо, уверенно председатель, еще никогда невиданного в мире Правительства, именуемого Центральным Исполнительным Комитетом Советов.

Эти волны, эти крики, эти мелькающие в воздухе руки были последней агонией старой государственности, распираемой рождающейся новой.

Но прежде чем умереть, старая парламентская государственность должна была испустить последний вздох с

трибуны Учредительного Собрания. И мы, большевики, не стали душить этого последняго вздоха, мы позволили ей вздохнуть полной грудью в последний раз.

Было все: выборы председателя—и Свердлова на трибуне сменил Чернов,—вступительная речь Чернова и, наконец, доклад о текущем моменте эсера Тимофеева. Затем были речи: Бухарина Степанова, (Скворцова), Церетелли.

Только иногда левая сторона Учредительного Собрания напоминала ему, что оно испускает последние вздохи и что смерть стучится в двери. Так, например, после выбора председателя, тов. Степанов предложил спеть Интернационал. Мы запели, а эсеры и меньшевики растерялись и только некоторые робко присоединили свои голоса к общему пению.

Все заседание было великим посрамлением эсеровской партии, этой главной основы и защитницы „демократического парламентаризма".

Началось с выборов председателя. Когда мы предложили эсерку Марию Спиридонову, эсеры голосовали против эсерки. Потом, когда от имени Советской власти мы предложили провести в жизнь пункт эсеровской программы о социализации земли, эсеры голосовали против осуществления свой программы...

Чернов сказал однажды, во время большого шума публики на хорах:

— Граждане, если вы, несмотря на мои неоднократные замечания, будете продолжать шуметь, я принужден буду принять меры.

Громкий гомерический хохот на всех левых скамьях и крики:

— Попробуй, а ну, ну, попробуй...

Да, трудновато принять меры, когда армия принадлежит Советской власти, милиция—Советской власти, когда охрана Таврического Дворца вручена матросам,—надежным защитникам Советской Власти. Так неосмотрительно сказал Чернов. Потом самому стало неловко. Не учел он одного, что отныне Советы—Российское Правительство...

К пяти часам утра „догорели огни".

Вошел матрос.

Посмотрел на это жалкое Учредительное Собрание. Чего еще учреждать, когда диктатура пролетариата уже „учреждена".

Матрос посмотрел на этих законодателей и сказал, что время уже позднее, пора на покой, да кроме того и электричества много выходит...

И законодатели кончили свою просвещенную работу на благо отечества. Разошлись. Покинули залу Таврического

Дворца, куда больше уже не вернулись ни Чернов, ни Швецов, ни иже с ними.

Через несколько дней в этом же зале заседал Петербургский Совет Рабочих Депутатов...

Перед самым концом заседания Учредительного Собрания подошел ко мне эсер, давнишний товарищ по подполью.

— Скажи, пожалуйста,—спросил он—неужели И. И. Степанов прав. Он говорит, что мы по *разную* сторону баррикад.

— Совершенно прав.

— Неужели мы оружием будем разрешать наш спор? Неужели между нами возможно кровопролитие?

В то время, немного сентиментальному эсеру я мог указать только на октябрьские дни, где эсеры и буржуазия были по одну сторону баррикад, а мы, солдаты и рабочие, по другую.

Последующие этапы революционной борьбы затмили в этом отношении все: эсеры буквально были нашими палачами.

Но победа за нами и русская революция поставила навеки несокрушимый крест над демократическим парламентаризмом и утвердила Красное Знамя пролетарской диктатуры.

IX.

Кремль.

Вероятно, еще до сих пор набожные люди собираются около Спасских ворот Кремля и молятся на чудотворную икону, задетую снарядом во время октябрьских дней.

Сейчас вместо иконы едва заметно полустертое место, где когда-то были краски образа. Над образом башенка, на башенке часы, а около самой верхушки башенки в октябрьские дни стоял пулемет юнкеров. Теперь железные ворота запирают вход в Кремль. Это те ворота, про которые в известном стихотворении говорится: „Шапки, кто, гордец, не снимет у святых Кремля ворот“

Около этой Спасской башни происходило одно из наиболее кровопролитных и упорных сражений.

Но стены и башни Кремля на своем веку видали немало кровопролитий. Холодно-каменные, они равнодушно смотрели пустыми глазами своих бойниц на тот мир, который из-за обладания этими стенами ломал копья и жизни людей. Эти стены видели татар, видели французов, видели Ивана Грозного и Петра Первого и стрельцов, что клали свои головы на лобном месте, бросая последний, тоскующий взор на янтарное небо, обрамленное зубцами кремлевских стен будто каменным кружевом. А внутри самих стен, под землею, тлеют обглоданные червями кости московских владык...

Рядом с могилами возвышаются дворцы этих владык, рядом с дворцами старинные палаты, колокольня Ивана Великого, Собор и, наконец, всякого рода „государственные службы“: судебная палата, арсенал и т. п.

Кремль—это большой барский двор, в громадном поместье, называемом Россией. В этом дворе есть все, что нужно хозяину помещику, имеющему сотни тысяч десятин земли и 180 миллионов крепостных душ. Кремлевский двор владеет землей от моря Черного до моря Белого и от Балтики до Желтого; горы Уральские, горы Кавказские, горы Алтайские—все это будто холмы огромного поместья. Голубая лента—Волга серебристая; Северная Двина; темная дикая Печера; сибирские водные ленты: Лена, Обь — все это

будто пруды великие для господских затей; леса заволжские, леса сибирские, тайга байкальская—это парки „в их картинном запустеньи“; а степи вольные и безконечные—простор широкий для разгуляний. И всем когда-то правил Кремль: он вырос, он стал короной на голове „всея Руси“.

И прямо каким-то непрошенным гостем залетел сюда в своей длиннополой порфире Александр Второй. Сей петербургский владыка и после смерти своей был так прыток, что всегда, чуть только в каком-нибудь городе или городишке завидит свободную площадь, особенно на пригорке, так сейчас же возьмет и станет там рядом с городовым во весь свой рост. Вот и в Кремле он совсем чужой. И он это знает, и потому укрылся в особо устроенный для него галлерейке, в которой он стоит с таким видом, будто выжидает момента, когда-б ему улизнуть из Кремля. Улизнуть куда угодно.

Помню весной 1918 года шли мы с Мураловым жиденькими аллейками у подножья кремлевских стен, близ Троицких ворот. Небо меркло в лучах угасающего солнца, которое клонилось на покой к горизонту. Горизонт румянился, как мальчик, наигравшийся вдоволь среди цветов. Воздух, затаив свои ветры, не дышал, боясь дотронуться до тонких деревьев. Деревья черные незаметно набухали от влаги и готовились пускать вешние побеги.

На фоне Кремлевской стены и мокрых деревьев при румяном золоте Муралов—высокий и немного несуразный—походил на богатыря. Смуглое лицо, черные усы, борода, глаза как чернослив и чуть-чуть калмыцкие скулы. Рост высокий, плечи, как круглое бревнышко и руки—только для богатырских рукавиц.

Он весь точно осколок того времени, когда происходил бой Руслана с Головою. Как жалко, как бесконечно жалко, что Муралов в руках держит портфель, а не палицу. Я всегда боялся видеть в его руках портфель: вот, думаю, рассердится сейчас на что-нибудь, сомнет в комок весь портфель с бумагами, да еще, пожалуй, сюда же втянет чью нибудь голову.

— Это старинная стена,—говорил Муралов, показывая своим страшным пальцем на стену.

— А там какая-то постройка за стеной,—отвечал я.

— Ну, это уж новое.

Помолчали немного.

Потом Муралов кашлянул. От этого кашля вороны с деревьев разлетелись. Потом Муралов сказал:

— Теперь все это наше. Помните, как здесь наши осаждали Троицкие ворота?

— Помню. А помните, как я с Ярославским выезжал и нас чуть было на „мушку“ не взяли в Троицких воротах?

— Ха-ха-ха,—Муралов засмеялся не очень громко, но

как-то шумно, так, как шумят вешние потоки,—да это здорово тогда вышло? А все-таки мы взяли Кремль!

„Взяли Кремь“, „взяли Кремль“. Я вдруг почувствовал, что это в устах Муралова прозвучало как-то особенно.

Я еще раньше замечал, что, например, во время своих речей Муралов действовал на слушателей не словами своей речи, а всем физическим существом: размахиванием руками, раскачиванием головы и т. д.

И совсем не требовалось обычным образом доказывать, ибо руками, туловищем и головою Муралов уже заставил верить себе всех.

Вот и теперь сказал он: „взяли Кремль“, а мне уж почудилось, что мы не только его взяли, но как-то преобразили по-своему, вывернули его наизнанку, как старый карман или мешок, вытряхнули оттуда весь старый мусор и стали наполнять его новым, нашим, содержанием.

Кроме того, мне казалось, что однажды Муралов может с Красной площади подойти к кремлевской стене, схватить ее добродушно за какой-нибудь зубец, как иногда шутки ради берут за козлиную бороду старого, старого дедушку,—и тряхнуть ее слегка так, чтобы со стены из всех щелей посыпалась бы гниль и пыль.

— Эх ты, старина, матушка,—сказал бы, наверное Муралов,

— Дружно взяли Кремль,—продолжал между тем Муралов,—помните, какие атаки были вот здесь, около Троицких ворот?

— Да, но и у Спасских кипел сильный бой.

— Да! Там они наших прямо засыпали пулеметным огнем со Спасской башни. И наши долго не могли сбить этот пулемет над „чудотворной иконой“. Тут было больше потерь с нашей стороны...

Муралов опустил голову, и как раз в это время догорела на небе последняя розовая полоска. Стало темнее и свежее.

— И юнкера положили здесь много, когда вначале отнимали у нас Кремль. Помните, сестра милосердия приходила рассказывать.

— Баба? Баба? Да разве ей можно верить?—Врет.

— Но все-таки.

— Врет, безусловно врет.

Муралов грустно махнул рукой. Он, видимо, думал о наших жертвах. Его мысль увлекалась в пучину грустных размышлений о погибших так же, как камень увлекается на дно моря. И как-будто даже все окружающее запечалилось, и деревья словно занавесились тоскливой непогодой...

Точь в точь такой же Муралов был тогда, когда хоронили под кремлевскими стенами героев, погибших в суровые октябрьские дни.

Тут не была обыкновенная жалость к людям, как существам себе подобным. Это скорее просто стихийное ощущение убыли своей собственной коллективной силы, которая произвела величайшую в мире революцию.

Когда тихо и мерно проносили гроб за гробом, держа их высоко торжественно над головами, чтобы видели все тысячи и тысячи глаз, Муралов стоял, так же опустив голову, как сейчас. Он стоял как раз у края глубоких больших могил, которые зияли своей чернотой у подножия кремлевских стен. В этих могилах долго, спокойно будут тлеть трудовые солдатские кости. И мозг их будет пепелиться и кровь смешиваться с сырой грязью кремлевского фундамента. В трещинах этого фундамента много, много мелких червей, которые впивались в мозг царей. Пройдут столетия, и червоточина будет все так же тихо и упрямо делать свое дело под Кремлем.

Когда опускали навечно гробы в землю, то гордые стены Кремля, казалось, поднимались, вырастали выше и выше. Стены как будто гордились тем, что бойцы сложили свой прах именно у них, у покоренных ими стен. С этих пор холодные каменные стены будут неизменно и тихо хранить этот прах.

Кремлевским стенам этот прах роднее царского, ибо ни один царь не сломал и не вложил в них ни одного кирпича. А прадеды погибших бойцов сами клали кирпич по кирпичу, камень по камню и выстроили, укрепили этот большой каменный боярский-барский двор. И пошло так из века в век, из поколения в поколение—сначала прадеды, потом праотцы—защищали эти кремлевские стены от всех врагов.

Будто нарочно страдальцы и труженики берегли для себя эти кремлевские боярские хоромы. Будто для того, чтобы обагрить своей кровью те стены, которые уже были обагрены потом и слезами московских и окольных рабов. Пот, слезы и кровь—это крепчайший цемент кремлевских стен, который крепче камней, а прах бойцов—надежнейший фундамент отвоеванного у бояр Кремля.

Так барский двор превратился в рабочий всенародный двор, где, временами, справляет праздник величайшая революция.

Отныне и вовеки Кремль перестал быть короной на голове „всея Руси“ и сделался каменным обручальным кольцом, которым венчаются и обручаются „все языци всей земли во имя мира, труда и правды“.

X.

Материалы для истории октябрьской борьбы.

В эти великие дни октябрьской годовщины мне особенно вспоминается умерший полгода тому назад, *) но еще молодой и полный сил, наш товарищ Виктор Тихомирнов.

В его бумагах после смерти найден неоконченный им очерк октябрьской борьбы и ряд белогвардейских документов. Его очерк имел целью, видимо, показать разницу между руководством белогвардейской армией и нашей. К великому сожалению, товарищи не смогут никогда узнать, что хотел сказать т. Виктор, как он хотел развернуть картину боев и картину руководства армией.

И все-таки эти еще теплые листки бумаги, почерк руки, державшей в октябрьские дни винтовку, дает нам право в эти торжественные дни напечатать неоконченный очерк т. Виктора и собранные им документы.

При этом я не могу не напомнить товарищам, что т. Виктор в ночь на 25 окт. 1917 г. об'ехал на автомобиле все казармы Москвы, созывая солдатскую массу к Совету. Его упорному усилию мы обязаны тем, что в должный момент самый центр Москвы (здание Совета) было наполнено кипящей массой солдат. Т. Виктор первый установил в Московском Совете и вполне наладил работу штаба Московского Военно-Революционного Комитета, и он же был первым, который не вынес сидения в штабе, а взяв винтовку в руки, направился непосредственно в самое пекло боя. Все это он делал просто, даже не торжественно, а так правильно, деловито, упорно.

С т. Виктором я прожил и проработал вместе около 12 лет, но никогда я не видел его таким воодушевленным и, главное, как бы перерожденным, как, именно, в эти грозные дни. И ничего мы с ним не вспоминали так торжественно-сердечно, как, именно, эти дни вооруженной революционной борьбы.

*) Это писалось в 1919 году, осенью, а т. В. А. Тихомирнов умер весной того же года.

Его и меня всегда поражала одна черта Октябрьской революции,—эта полнейшая и типичнейшая ее стихийность, с одной стороны, и строгий учет и точный корректив этой стихии, которые проявила и выполнила наша партия.

Об этом как раз и говорят документы, собранные т. Виктором. Правда, они им не систематизированы. А мне некогда было их систематизировать, тем более, что я нашел эти бумаги т. Виктора в его бумагах только незадолго пред октябрьскими днями. Таким образом, приходится документы приводить в сыром виде.

Вот что говорит об этом материале т. Виктор: „При самом беглом знакомстве с ними (документами А. А.) бросается в глаза—насколько выше и технически лучше была поставлена работа белогвардейцев и их штаба по сравнению с нашей работой. В то время как мы в центральном штабе не имели сносной карты Москвы, не имели правильно налаженных донесений от отрядов, а о правильных рапортах уже и говорить не приходится, белогвардейцы готовились к бою по всем правилам боевого искусства“.

В самом деле, вот, например, донесение о действиях прапорщика 217 зап. пех. полка П. Петрова.

Действия прапорщика 217 зап. пех. полка П. Петрова.

28-го октября с 11 час. дня до 12 час. ночи снимал с крыш большевиков, стрелявших по нашим постам (Поварская, уг. Хлебников. и Скатертн. пер.). Без потерь со своей стороны арестовал 75 человек, вооруженных, из коих 16 человек красногвардейцев.

29-го октябри в 11 час. вечера получил от полковника *Трескина* приказание: взять 15 человек ударников и направляться с ними по Арбату через Смоленский рынок к Брянскому вокзалу для встречи батальона смерти, идущего в Ал. военное училище, и очистить для них путь. Через 10 мин. я вышел.

До Смоленского рынка дошел без препятствий, задержал 4-х больш. (вооруженных). У Смоленского рынка горел фонарь, освещая площадь в 40 ш. Я решил здесь остановиться. Троих ударников отправил на разведку. Через 1½ часа они вернулись и донесли: до Дорогомиловского моста дорога свободна. У моста с нашей стороны стоят 20 человек красногвардейцев, мы вступили с ними в разговоры и сказали, что служим в 193 большевистском полку, их пропустили; дойдя до Брянского вокзала, они, т.-е. разведчики, ничего не заметили, и возвращаясь обратно, у моста застали тех же красногв. и были вторично ими пропущены. Оставя троих у рынка, с 12-ю человеками я отправился к мосту.

Красногв. встретили нас огнем, но лихим ударом мы окружили их и 2-х бросили в речку, а 12 человек задержали. Отойдя немного от моста, я с 6-ю ударниками направился во 2-й Хамовнический комиссариат, где задержал 10 чел. милиционеров и взял оттуда 18 берданок. Возвращаясь обратно к рынку, оставил там пост в 5 человек для засады и встречи бат. смерти. Через 25 мин. батальон смерти мы встретили и проводили их в Ал. военн. училище. Потерь не было, были раненые.

29-го октября с 3 час. дня и до 2 час. утра 30-го окт. Производил поиски скрывшихся в домах на крышах большевиков. Были небольшие столкновения с ними. Задержал 30 человек вооруженных (Поварская ул., Б. Никитская и Трубниковский п.).

30-го октября. Получил приказание от полковника *Трескина* немедленно с отрядом ударников и студентов выступить к Никитским Воротам, откуда наступали большевики на Арб. площадь. С отрядом 15 ударников и 6 студентов в 10½ час. утра я вышел из Худ. театра. Проходя по Малой Кисловской, был обстрелян из 2-го этажа дома, находящегося на углу Б. Никитск. и Леонтьевск. пер. Из Кисловского пер. через проходной двор мы вышли в Калашный пер. и заняли угловой дом (Ник. и Кал. пер.). Оставив 6 человек в 2-м этаже для обстрела противолежащего дома, занятого большевиками, с остальными разместился во дворе этого дома. В 2 часа дня к нам прибыл отряд офицеров с пулеметом. Половина заняла театр „Унион", а половина с пулеметом осталась в нашем доме. Пулемет поставили в 2-м этаже и открыли по дому, занятому большевиками, стрельбу. Перестрелка продолжалась все время. Было убито 3 оф. и 1 ударник. Решено было взять большевистский дом атакой. В 4 часа дня по поданному мною сигналу наши силы бросились в атаку. Через выбитые окна в колбасной и книжном магазине и, проломав черный вход, ворвались во двор. При осмотре чердаков и пустующих помещений во втором этаже были пойманы 7 больш. (1 оф. и 6 солд.), вооруженных винтовками и револьверами. Офицер и 3 солдата (большевиков) были заколоты, за сопротивление, а остальные взяты в плен. После этого больш. в числе 20 человек заняли 6-й этаж. дома (аптеку) и открыли по нас огонь, которым были убиты с нашей стороны 1 оф. и 1 студент и несколько ранено. Под утро большевики освободили аптеку, которую мы заняли пришедшим отрядом ударников. Испорченный нами большев. пулемет остался за нами".

Видно, прапорщик Петров был один из очень ретивых белогвардейцев. Так, у меня под руками имеются очень интересные донесения „о деятельности прапорщика Петрова по очистке Брянского вокзала от большевиков". Привожу эти донесения полностью в том виде, в каком они сохранились.

О деятельности прапорщика Петрова по очистке Брянского вокзала от большевиков и встрече ударников из Брянска, едущих к нам на подмогу.

29 октября 1917 года.

В 17 часов из политического Отдела Штаба Округа было сообщено, что по имеющимся сведениям сегодня ночью из Брянска должны прибыть ударники, которых, во что бы то ни стало, нужно встретить. По приказанию начальника охраны полковника *Трескина* был отправлен отряд ударников в количестве 15 чел. с прапорщиком *Гуровым,* под общей командой прапорщика *Петрова,* которому было приказано очистить от большевиков все пути, прилегающие к Брянскому вокзалу, и встретить приехавших брянских ударников. Отряд отправился из театра в 18 час. 30 мин. Через минут 20 по телефону от прапорщика *Петрова* поступило донесение, что весь Арбат до Смоленского рынка включительно очищен от большевиков и что он (прапорщик *Петров*) продвигается дальше. Впереди своего отряда им был послан разведочный дозор из 3-х человек под командой ударн. *Гончара* (батальона смерти 38 пехотной дивизии), который обнаружил на Бородинском мосту заставу красногвардейцев (около 40 человек.) Ряд *Гончар* сказал, что он 193 большев. полка (подошел вплотную к заставе и вступил с ними в разговор, из коего узнал, что у них главный штаб в Хамовниках, пулеметов нет и т. д.) Почти все красногвардейцы сильно пьяны. Поговорив с ними, ряд. *Гончар* отправился дальше по Дорогомиловской улице на Брянский вокзал. По пути им встречались небольшие патрули красногвардейцев. На Брянском вокзале оказалось только 6 большевиков (солдат). Вся публика, находившаяся на вокзале, относилась к большевикам враждебно. На обратном пути на Бородинском мосту красногвардейцев уже не было, а был прапорщик *Петров* с остальными людьми отряда. При взятии Бородинского моста прапорщиком *Петровым* было схвачено 5 красногвардейцев, из коих два были сброшены в реку, а остальные взяты в плен. Относительно проезда Брянских ударников никаких сведений не имелось. Указан-

ные выше сведения были получены от прапорщика *Петрова* в 1 ч. ночи. После этого отряд, захватывая по пути отдельных большевиков, отправился на Плющиху во 2-й Хамовнический комиссариат, где был взят запас оружия, состоящий из 18 берданок и 10 милиционеров, свободных от службы (верных правительству). В 5-м часу отряд вернулся домой, оставив на Смоленском рынке наблюдать пост из 5-ти человек, который в 7-м часу утра и встретил 170 ударников и провел их благополучно в Александровское училище. Таким образом задача была выполнена блестяще. В этой операции участвовали: прапорщики *Петров*, *Гуров* и ударники рядов.: *Гончар*, *Яновский*, *Лайонов*, *Кочнев*, *Желтов*, *Матюхин*, *Ворошилов*, *Салангин*, *Куранов*, *Петров*, *Михаил 1-й*, *Успенский*, *Меньшов*, *Кузнецов*, *Полухин*, *Федоренко*. В разведывательном дозоре на Брянском вокзале были: ряд. *Гончар*, *Куранов*, *Федоренко*. В течение суток неоднократно вызывались от различных домовых комитетов небольшие отряды ударников для задержания стреляющих с крыш большевиков.

29 октября.

В 15 часов разведчики-ударники: ряд. *Гончар*, *Андрюшенко*, *Успенский*, *Блишков*, *Вальков*, *Кудрявцев*, *Миронов* и 2 офицера (фамилии неизвестны), проходя в районе Леонтьевского и Чернышевского переулков, были обстреляны из пулемета, поставленного на колокольне Англиканской церкви. Рядовой ударник *Андрюшенко* первым вбежал на колокольню и взял пулемет, заколов 3-х большевиков. При возникшей после этого перестрелке в Чернышевском переулке были ранены: *Успенский*, *Вальков*, *Миронов* и ранены тяжело 2 офицера: подпоручик и прапорщик.

30 октября.

В 10 часов утра с наблюдательного поста у Никитских ворот было сообщено о наступлении большевиков со стороны Страстного монастыря. В 10 час. 30 мин. была послана поддержка 15 ударников, 6 студентов под командой прапорщика *Петрова*. Когда отряд проходил по Малому Кисловскому пер., то был обстрелян из дома 2-го этажа, находившегося на углу Б. Никитской и Леонтьевского переулка. Из Кисловского пер. через проходной двор вышли в Калашный пер. и заняли угловой дом (Никитс. и Калашн. пер.). Оставив 6 человек на 2 этаже для обстрела направления дома, остальных поместили во дворе напротив, в помещении театра „Унион", так: два офицера, четыре солдата и

три студента. В два часа дня прибыл отряд офицеров с пулеметом, половина которых заняла театр „Унион“, а остальные с пулеметом наш дом. Пулемет поставили во втором этаже и открыли огонь по противоположному дому. Перестрелка продолжалась все время. Было убито 3 офицера и 1 ударник. Решено было взять большивистский дом атакой. В 16 часов по сигналу наши силы бросились в атаку—через выбитые окна заняли колбасную во дворе. При осмотре чердаков и пустующих помещений во втором этаже были пойманы 7 большевиков (1 офиц., 6 солд.), вооруженные винтовками и револьверами. Офицеры и 3 солдата (большевики) были заколоты, а остальные взяты в плен. После этого большивики в числе... (дальше документы утеряны).

Как известно, в этой борьбе против просыпающегося человечества, против великих задач социализма и коммунизма, принимало участие и студенчество в довольно широких размерах. При этом сражалось очень искренно, до полного изнеможения. Вот документальные донесения:

Требование о подкреплении начальника правого боевого участка поручика Зотова командиру среднего боевого сектора.

За 2 ноября 1917 года.

Командиру среднего боевого сектора.

Доношу, что по детальном разборе данного мне боевого участка и по ознакомлении на месте (Никитский бульвар, Поварская ул., Мерзляковский, Хлебный пер. входили в занимаемый мною участок раньше и теперь входят), нахожу, что 90 человек солдат, из которых 36 студентов, не могут надлежаще не только оборонять вверенный мне новый боевой участок, но и охранять его, в силу чего прошу распоряжения о присылке мне пополнения в количестве 50 человек.—Начальник правого боевого участка, поручик *Зотов*.
№ 3. 2/XI—17 г.

Начальнику гарнизона.

Признаю изложенное пор. *Зотовым* правильным в виду того, что студенты в виду крайнего их переутомления службу несут за некоторым исключением не так энергично, как прежде, необходимо дать им некоторый отдых.—Полковник *Трескин*.
№ 28, 2 ноября 1917 г.

Сводки велись в Штабе Московского Военного Округа очень аккуратно, каждый день утром и вечером. Их попало в наши руки много. Приведу для примера одну:

1 ноября 1917 года.

Сводка по сведениям Политического Отдела Штаба М. В. О.

(за истекшую ночь).

В течение всей ночи противная сторона никаких активных действий не производила.

Орудийная стрельба по Городской Думе и Александровскому военному училищу продолжалась. На рассвете на Николаевском вокзале спешно и панически готовили баррикады к встрече прибывающему эшелону. Телефонная станция, хотя сильно пострадала, но еще функционирует. В районе, занятом нашими войсками, спокойствие. О прибывающих подкреплениях имеются успокоительные сведения, детали которых, по вполне понятным причинам, оглашению не подлежат.

Утром получены сведения о том, что обстрел Штаба и Городской Думы не прекращается, при чем в некоторых местах пострадало здание Думы.

Обращается внимание всех военных чинов на совершенную недопустимость громкого обсуждения различных распоряжений оперативного характера в виду установленных фактов, что многое из сообщенного вслух делается достоянием противной стороны.

П. Подписал: Начальник Военно-Политического Отдела

Поручик *Ровный*.

Вот несколько документов, касающихся охраны Казначейства.

Просьба поручика Эгеблода, охранявшего Казначейство, полковнику Трескину о соединении Казначейства полевым телефоном с Александровским Училищем.

За 2 ноября 1917 г.

Полковнику Трескину.

От Н-ка Гарнизона Александр. Учил. получено приказание остаться в Казначействе, с подчинением Вам. Управляющий Палатой лично просил командующ. войсками о соединении Казначейства телефоном (полевым) с Александровск. Училищ., о чем прошу Вас

также. Прошу кроме того, если возможно, усилить меня для несения сторожев. службы, а то у меня осталось и для охранения и для защиты Казначейства всего 70 юнкеров. Охранение же приходится выставлять на Никитскую.

Поручик *Эгеблод.*

2/XI—17 г. 13 ч. 25 м. Казначейство.

Полковнику Трескину от начальника караула при Казначействе поручика Эгеблода о невывозе ценностей из Казначейства.

Полковнику Трескину.

В виду получения Управляющим Палатой (Казначейством) при свидании полчаса т. н. с Командующим Войсками личного приказания не вывозить ценностей в Александр. Учил. к исполнению Вашего приказания не приступал, запросив Н-ка Школы о письменном приказе.

Начальник караула при Казначействе
5-й Школы поручик *Эгеблод.*

2/XI. 17 г. 11 ч. 40 м.

Сообщение поручика Эгеблода, охранявшего Казначейство, начальнику 5-й школы.

За 2 ноября 1917 г.

Начальнику 5-й школы.

От полковника *Трескина* я получил приказание конвоировать ценности из Казначейства и затем остаться с караулом в училище. Управляющий Казенной Палаты, получивший такое же приказание от К-го войсками после свидания с последним, получил личное приказание не эвакуировать ценности и передал караулу, что караул тоже должен остаться в Казначействе (Палате).

Прошу *письменного приказа.*

Кроме того, настоятельно прошу указать, *кому я подчиняюсь,* чьи должен исполнять приказания, на каком основании я подчиняюсь полковнику *Трескину.*

Доношу, что мне приходится высылать далеко впереди наружное охранение, кроме караула; юнкеров мало и поэтому необходимо усилить наряд, или поручить сторожев. охранение друг. частям, ибо и то, кото-

рое я выставляю, является совершенно недостаточным и у меня распылена вся внутренняя охрана. Измучены юнкера.

Поручик *Эгеблод.*

2/XI 17 г. 11 ч. 30 м. Казначейство.

К-щему войсками доложено о том, что по техническ. условиям эвакуация из Казначейства ценностей невозможна, почему Казначейство остается на месте. Внутр. караул поручика *Эгблода* и останется внутри Казначейства для специальной охраны его лишь по особому приказанию.

Полков. *Харл...*

2/XI.

А вот документы, относящиеся к содержанию наших товарищей арестованных:

Эвакуацию арестованных начнем под утро. О начале сообщу. Помощник Коменданта Подполковник (подпись неразборчива).

Полковнику *Троицкому*.

№ 35. Получил Гл. Кв. Т. 29/Х.

Помощника коменданта подполковника Ахсиса о переводе арестованных из театра в юнкерскую баню.

Арестованных, находящихся в Художественном театре, перевести в юнкерскую баню. Переводить небольшими группами. Охрана по переводе Ваша.

Помощник Коменданта Подполковник *Ахсиса.*

30/Х— 17.

Начальника охраны Художественного электротеатра полковника Трескина с 19 челов. арестованных главарей 2-й автомобильной роты коменданту Кремля, для содержания под арестом.

За 29 октября 1917 г.

Коменданту Кремля.

При сем препровождаю 19 человек арестованных главарей 2 й Автомобильной роты для содержания под арестом.

Н-к Охраны Худ. Электротеатра Полковник *Трескин.*

№ 33. 29 октября 1917 г. г. Москва.

Начальнику караула при кремлевских казармах принять под арест. Шт.-оф. ком. управ. подполк. Тарасов

(печать) 29/X.

19 человек 2-й Автомобильн. роты для содержания под арестом принял.

Караульный Нач-к Прапорщик *Валуев*.

29/X—17 г. 23 ч. 10 мин.

В то время, как наши товарищи, когда требовалось подкрепление, прибегали взмыленные в штаб и требовали (подчас очень буйно, что очень понятно) подкреплений, наши враги, белогвардейцы, заблаговременно, аккуратно, на листочках по всем правилам, кратко, но ясно указывали на недостаток живой силы или материала (патрон), в том или другом месте. Вот несколько документов и на эту тему:

Сообщение о состоянии района с просьбой о подкреплении начальника Никитскаго района штабс-капитана Доманского, полковнику Ульянову.

2 ноября 1917 г. № 18.

Доношу, что за сегодняшний день нашим отрядом, занимающим театр „Унион“, захвачены дома на углу Малой Никитской и Малой Бронной, в общем в числе трех. На занятие этих домов израсходовано 30 человек убитыми и ранеными 2. Прошу распоряжения о высылке подкрепления в числе 30 человек ударников или юнкеров. Считаю занятую нами позицию очень важной. Количество неприятеля по сообщению разведчиков значительно.

На углу Б. Никитской и Тверского бульвара захвачено нами в плен 3 вооруженных неприятеля.

Штабс-капитан *Доманский*.

Требование о присылке винтовок Гнушина от организации самообороны 2-го Пречистен. комиссариата.

Р. З. Организации Самообороны 2-го Пречист. Комис. крайне необходимо оружие.

Если нет возможности удовлетворить эту потребность полностью, то нельзя ли получить хоть *несколько* винтовок с патронами и патроны к револьверам.

Л. Гнушин.

Годзишевский, Сивцев Вражек, № 20, кв. 16.

Начальнику гарнизона от полков. Трескина просьба о присылке патронов.

Начальнику гарнизона полковника Трескина.

Доношу, что патроны во вверенном мне гарнизоне на исходе. Очень прошу дать несколько ящиков.

С 26-го октября, из имевшегося у меня запаса, несколько ящиков было отпущено в Александровское военное училище.

На Поварской в переулках противник сдержан, но по сведениям из Комиссариата (Скатертный) противник предполагает в ближайшем времени перейти в наступление.

Предварительные распоряжения об отпоре сделаны.

Полковник *Трескин.*

14 ч. 25 м. 2 ноября 1917 г.

Вот, например, описание действий ударников, которыми руководил Гончар:

„20 человек заняли 6 эт. дом (аптека) и открыли по ним огонь, которым были убиты с нашей стороны 1 офицер и 1 студент и ударник *Блашков* и несколько легко ранены. Под утро большевики ушли из этого дома. Пулемет, испорченный нашим огнем, остался. Оставленный дом зараз же был занят пришедшими на поддержку 22-ю ударниками под командой ряд. *Гончара*“.

Далее позволю себе привести очень интересную реляцию поручика *Зотова*. Она интересна тем, что в ней много имен, а также и очень красноречивых описаний подвигов (как, например, доброволец Андрюшенко „приколол трех большевиков“). Вот эта реляция:

Реляция командира батальона поручика Зотова за 29, 30, 31 октября 1917 года.

Октября 29-го.

15 часов донесено, что в районе Леонтьевского и Чернышевского пер. с колокольни Англиканской церкви ведется пулеметный обстрел проходящих отряд-дозоров. На подмогу 15½ часов отправлен отряд добровольцев Батальона Смерти в 15 человек под командой прапорщика *Петрова* 217-го пехотн. запасного полка с поручением пулемет сбить, колокольню очистить от большевиков.

Во время боя добров. *Андрюшенко Иван* первым вбежал на колокольню, взял пулемет, приколол трех большевиков. При возникшей горячей перестрелке после взятия пулемета были ранены добровольцы батальона смерти: *Успенский, Вальков, Миронов, и Андрюшенко.*

Октября 30-го.

11 часов поступила с Никитского бульвара просьба поддержки в бою с большевиками. $11^1/_2$ часов отправлен отряд в 10 человек под командой добровольца *Гончара.* 16 часов поступила вторая просьба о поддержке.

16 час. 45 мин. Отправлен отряд добровольцев в 15 часов под командой ад'ютанта батальона смерти штабс-капитана *Березина* и прапорщика батальона *Письменного.*

Во время боя оба отряда понесли потери. Убит добров. *Блажков* и ранены добровольцы: *Беняк, Савинский, Пашкевич, Ворошилов, Серегин, Меньшов, Ларионов, Хрисанфов, Чепенский, Петров 1-й.*

В 17 часов поступило заявление, что в Колонном пер., на крыше дома № 21, замечен пулемет. Отрядом добровольцев в 16 человек под командой командира батальона поручика *Зотова* произведено обследование, при чем пулемет не обнаружен.

Октября 31-го.

В $16^1/_2$ часов от караула поступило заявление о движении большевиков по Поварской улице. Отправлен отряд добровольцев в 40 челов. (добр. батальона смерти и студенты) под командой добровольца *Гончара.* Движение остановлено. Потерь нет.

Командир Батальона поручик *Зотов.*

В одном только и мы и наши враги учились в самом процессе борьбы—это в установлении системы пропусков и должных удостоверений. В гражданской, и, особенно, в городской войне, системы пропусков играют очень большую роль, они очень важны.

Вот почему и мы и они изощрялись, можно сказать, в изобретении этих „пропускных" систем.

Вот документы, соответственные этому:

Начальника гарнизона полковнику Трескину о снабжении юнкеров Алексеевского училища удостоверениями от училища.

Полковнику Трескину.

Прошу оповестить все части вверенного Вам участка, что Начальник Штаба М. В. Окр. приказал не пропускать в расположение наших боевых постов лиц,

имеющих только удостоверения от домовых комитетов, а требовать пропуска от училища.

Теперь же снабдить пропусками юнкеров Алексеевского училища, если таковые еще не переодеты в форму Александровского училища.

За Начальника Гарнизона подполковник *Синьков.*

2 ноября 1917 г.

Начальника гарнизона извещение полковнику Энквисту о требовании пропусков, только выдаваемых от училища.

2 ноября 1917 г.

Полковнику Энквисту.

Прошу оповестить все части вверенного Вам участка, что Начальник Штаба М. В. Окр. приказал не пропускать в расположение наших боевых постов лиц, имеющих только удостоверения от домовых комитетов, а требовать пропуска от училища.

Теперь же снабдить пропусками юнкеров Алексеевского училища, если таковые еще не переодеты в форму Александровского училища.

За Начальника Гарнизона подполковник *Синьков.*

Очень интересно также, как в их донесениях уже слышались явно безнадежные и растерянные нотки, что было перед самым исходом этой великой борьбы. Вот, например, сообщение из штаба.

Сообщение из Штаба.

„Я из Штаба, картина такая: Штаб окружен с трех сторон. Большевики действуют исключительно с крыши, тем самым выбивая нас. Бесполезно ставить посты на открытой улице, раз они пробираются через дворы. Занимайте чердаки, бороться нужно тем же путем, места обстреливаются так, что нет возможности перескочить. Ранено в Штабе около 20 человек, в том числе 2-ое женщин, прапорщики Кременская и другая.

Автор этого сообщения все-таки еще надеется, видимо, отбить большевиков, стоит, по его словам, только научиться у них же бить „с чердаков“. Как видно здесь, в борьбе чисто гражданской-городской мы оказались более совершенны, чем они. И понятно. Их полководцы имели опыт в полевой и позиционной войне, а наши дружинники уже с декабрьского Московского восстания изучили „систему

чердаков“ и изрядно думали о способах городской войны. Я помню, например, наши военные совещания перед октябрьскими днями и помню, как много мы говорили о том, что нашу вооруженную борьбу надо приспособить к городу.

Таким образом, и мы у них и они у нас кое-чему учились.

Вот, наконец, документ от 3-го ноября, т.-е. от того времени, когда мы победили. В нем штабс-капитан Мыльников просит не только указаний, но и „освещения событий“. До этого же было ясно. А теперь все спуталось в глазах штабс-капитана Мыльникова. Вот это сообщение:

Сообщение штабс-капитана Мыльникова начальнику Среднего сектора о движении по Арбату и попытках обезоружить юнкеров.

За 3 ноября 1917 года.

1917 г. ноября 3.

Н-ка Среднего сектора.

По Арбату большое движение, юнкеров пытаются обезоружить. Жду указаний и освещения событий.

Шт.-кап. *Мыльников.*

Да, в этот именно момент зашаталось и рухнуло могущество юнкеров, офицеров, студентов, и прочих честных защитников буржуазии. Штабс-капитан Мыльников опоздал, так как 2-го ноября был издан нижеследующий, замечательный во многих отношениях, приказ Рябцева (кстати сказать, честного демократа, расстреленного Деникиным в Харькове):

Приказ войскам Московского Военного Округа

2 ноября 1917 г.

Гражданская борьба внутри Москвы наносит непоправимый вред населению и самому городу. С этой целью для ее окончания по инициативе Комитета Общественной Безопасности и представителей города обеими враждующими сторонами заключен и подписан договор, текст которого при сем об‘являю.

Приказываю впредь до окончательного разрешения вопроса о способах осуществления этого договора немедленно же прекратить всякие активные боевые действия, допуская применение огнестрельного или холодного оружия лишь в случаях самообороны.

Представители противной стороны взяли на себя, при контроле нейтральной стороны, обязательства также о немедленном прекращении аналогичных боевых действий. Приказываю раз‘яснить всем техническую трудность проведения этого в короткий срок и не проявлять нервности и не поддаваться провокации в случаях обстрела в отдельных пунктах.

О случаях крупных действий доносить немедленно для принятия мер. Всем вверенным мне войсковым частям, расположенным по городу для обороны, приказываю оставаться в том же положении, в котором они находятся сейчас в момент об‘явления настоящего приказа.

В настоящее время производятся переговоры, имеющие целью выработать гарантии наибольшей личной безопасности.

Будут приняты меры, дабы оградить и всех военнослужащих и их семьи от всякого посягательства и эксцессов.

Если бы для этого пришлось переменить место всего отряда или произвести ту или иную перегруппировку, то иметь в виду, что на это последует особое приказание и что эти передвижения, если они состоятся, будут иметь задачей только поставленную цель—ограждение безопасности и неприкосновенности и ничего больше.

Гражданская борьба согласно постановления высшего в Москве политического органа, Комитета Общественной Безопасности, окончена.

Подписал: Командующий войсками Московского военного округа генерального штаба Полковник *Рябцев.*

Так последний раз в этом последнем приказе старой власти „Комитет общественной безопасности", который по справедливости мог бы быть назван „Кровавым Комитетом общественной опасности", именуется еще „Высшим Политическим Органом в Москве".

Все эти материалы, каждая бумажечка, листочек, относящийся к этим событиям, будет становиться для нас тем дороже, чем дальше мы будем отходить, удаляться по времени от этих событий. Удаляясь на годы, на десятки лет вперед от этих событий, мы как-будто острее начинаем вглядываться в черты прошлого.

Мы сейчас завалены работой, нам некогда лепесток по лепесточку разбирать великие события, но пройдут года и эти лепесточки, эти наши документы будут представлять собою историческую ценность.

Если это так будет, то не надо забыть и имени того товарища, нашего дорогого товарища Виктора Тихомирнова, который трудился над этими документами, собирал их, подбирал, но не успел довести дело до конца. Вот почему, считая эти документы ценными, я, кое-как расположив их, все-таки решился представить их нашим товарищам.

ОГЛАВЛЕНИЕ.



